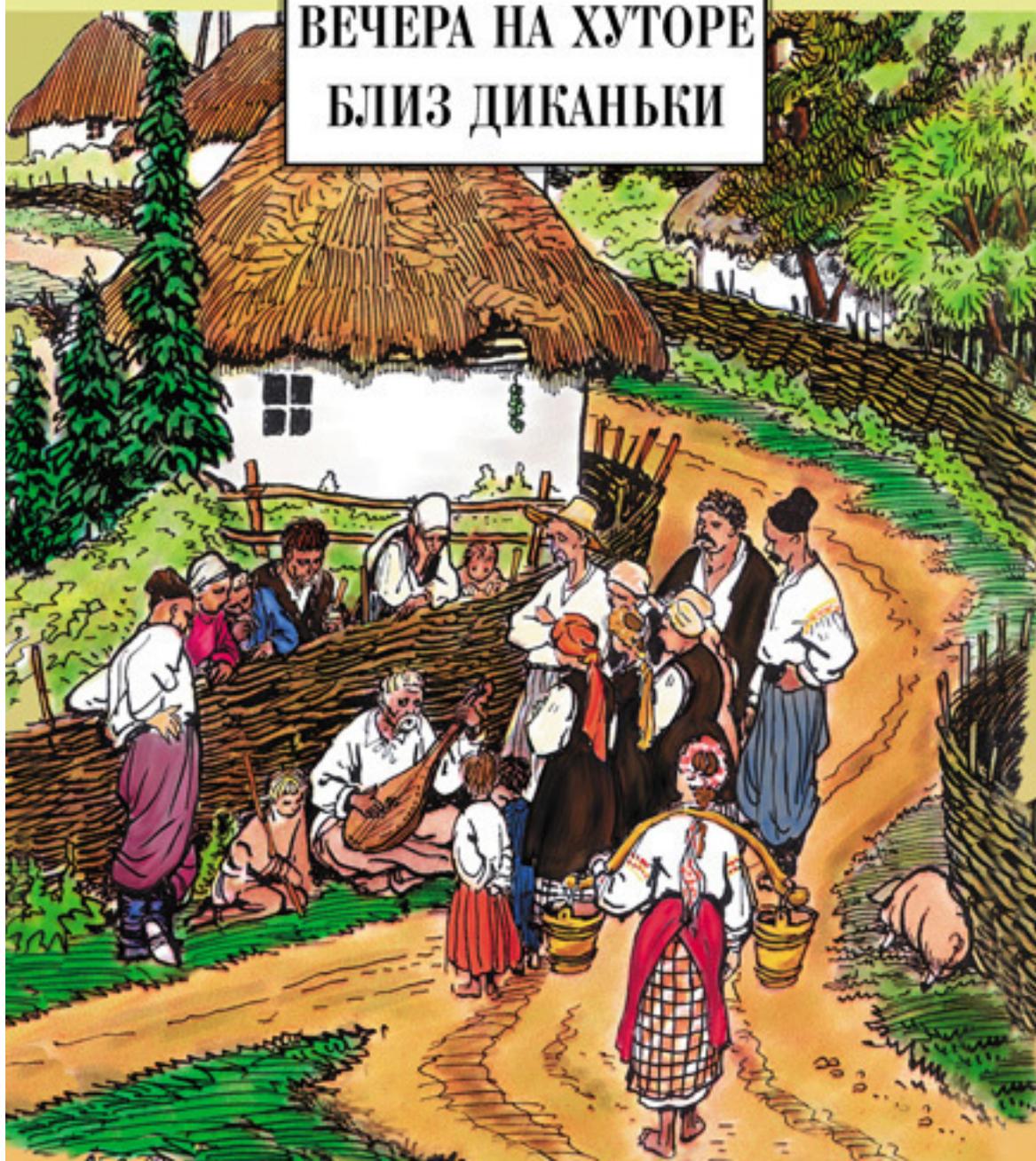


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Н. В. Гоголь

ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ



Школьная библиотека (Детская литература)

Николай Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки

Издательство «Детская литература»

1829–1832

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Гоголь Н. В.

Вечера на хуторе близ Диканьки / Н. В. Гоголь — Издательство
«Детская литература», 1829–1832 — (Школьная библиотека
(Детская литература))

ISBN 978-5-08-004623-0

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — одно из самых ярких и замечательных сочинений великого русского писателя Н. В. Гоголя. Для старшего школьного возраста.

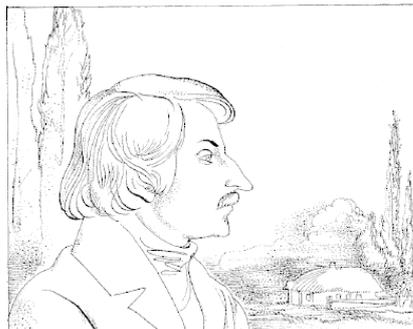
УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-004623-0

© Гоголь Н. В., 1829–1832
© Издательство «Детская
литература», 1829–1832

Содержание

...И по ту, и по эту сторону Диканьки	6
Часть первая	29
Предисловие	29
Сорочинская ярмарка[19]	34
I	34
II	37
III	38
IV	40
V	40
VI	42
VII	43
VIII	46
IX	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47



Н. Гоголь

1809—1852

Николай Васильевич Гоголь

Вечера на хуторе близ Диканьки¹

© Виноградов И. А., вступительная статья, комментарии, 2000

© Лаптев А. М., наследники, иллюстрации, 1960

© Оформление серии. Издательство «Детская литература», 2003

* * *

...И по ту, и по эту сторону Диканьки

До настоящего времени книга повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832) не утратила той свежести, какую почувствовали в ней ее первые читатели. Сам Гоголь в 1831 году, посылая матери экземпляр книги, писал: «Она понравилась здесь всем, начиная от Государыни...» А. С. Пушкин сообщал тогда же А. Ф. Воейкову: «Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность!»

«Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора», – писал Гоголь. Это пожелание автора отнюдь не случайная обмолвка. С самого первого художественного цикла Гоголь вступает в литературу не только как веселый, оригинальный рассказчик, но и как глубокий, связанный с православной отечественной традицией мыслитель.

В 1831 году мать Гоголя, Мария Ивановна, получив от сына первую часть «Вечеров...», писала близкой родственнице О. Д. Трощинской: «Николай мой все стремится быть полезным для родного края, и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее...» Позднее, в 1847 году, поэт и критик Ап. Григорьев, говоря о лиризме «Вечеров...» в связи с позднейшим творчеством писателя, проницательно заметил: «...в то же самое время и здесь... выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта – *свойство очертить всю пошлость пошлого человека и выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросаются в глаза...* Ни один писатель... не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою... и... ни один писатель не обладает вашей души такую тяжелою грустью, как Гоголь, когда он... обливается... негодованием над утраченным образом Божиим в человеке...» (курсив наш. – И. В.).

Не только собственно «реалистическая», бытовая сторона повестей «Вечеров...», но даже и сама их «фантастика», при всей кажущейся произвольности, подчинена у Гоголя глубокому внутреннему смыслу. По словам протопресвитера Василия Зеньковского (в одной из его ранних работ), «Гоголь гораздо более, чем Достоевский, ощущал своеобразную *полуреальность* фантастики, близость чистой фантастики к скрытой сущности вещей. Уже в „Вечерах на хуторе близ Диканьки“ это чувствуется очень сильно». Добавим, что ранние повести Гоголя помогают, в частности, понять и то, почему писатель так и не связал себя, по обыкновению, семейными узами, но оставался до конца своих дней «монахом в миру».

Сорочинская ярмарка

«Сорочинская ярмарка» – первая (в композиции) повесть цикла, в которой вполне раскрылся талант Гоголя не только как занимательного рассказчика, но и как верного бытописателя. Материал для создания повести Гоголь черпал из своих детских и юношеских воспоминаний. Четыре раза в год ярмарки проводились в Васильевке – родовом имении Гоголей, при этом скотная ярмарка, по словам самого писателя, была крупнейшей в губернии.

Неудивительно, что за шуточным повествованием встают в «Сорочинской ярмарке» темы весьма серьезные, почерпнутые из самой жизни. Подчеркнем чрезвычайно существенный для всей повести «морально-экономический» подтекст, осмысление которого мы находим и в зрелом творчестве писателя. Так, весь итог ярмарки в отношении к главному герою, Солопию Череву, заключается, как изображает Гоголь, в том, что на деньги, вырученные от продажи пшеницы, Хивря бежит закупать себе всяких «плахт и дерюг». Соответственно этому строится и зачин «Сорочинской ярмарки», где вслед за ремесленником-гончаром, везущим на ярмарку ярко расписанные миски и горшки, – привлекающие, как сказано в черновой редакции пове-

сти, «завистливые взгляды поклонников роскоши», – появляется тут же воз Солопия Черевика с мешками пшеницы и с сидящей на возу щеголихой Хиврей.

Созвучен трате Хиврей денег на щегольские наряды и другой «итог» ярмарки – женитьба казака Грицька на Параске, брак, как показывает писатель, чреватый воцарением новой щеголихи. Изображаемое в повести всеобщее веселье по поводу состоявшейся свадьбы вызывает у самого автора скорее грустные, чем веселые чувства: «И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему!»

«Громкое хлопанье по рукам и распиванье магарыча... дадут знать вам, что сделка или покупка совершены», – как бы подсказывает рассказчик в черновой редакции повести мысль о том, что заключение брака между его героями отнюдь не принадлежит к сфере «возвышенной» жизни, но, напротив, относится к весьма обыденной и «низменной» ее области – столь же «низменной», как и заключение прозаической торговой сделки: «Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!»

«Мачеха, – рассуждает далее в повести Параска, – делает все, что ей ни вздумается; [разве и я не женщина] разве и я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямства-то и у меня достанет. <...> Дай примерить очипок, хоть мачехин, как-то он мне придется!» – спешит она – еще до замужества – освоиться на «царстве». Нетерпение Параски Гоголь подчеркивает, имея в виду прямо противоположное поведение невесты в традиционном украинском свадебном обряде, описание которого он внес в 1829 году в свою «Книгу всякой всячины, или Подручную Энциклопедию»: «...женщины... с пеньем расплетают ей косу и подают очипок, который она бросает, и за третьим уже разом надевают ей на голову и выпроваживают ее к мужу».

Роднит юную Параску с мачехой и страсть к нарядам и украшениям. «Так и дергала» ее, замечает рассказчик в черновой редакции повести, «непонятная сила под ятки к крамаркам, где развешаны были самые яркие ленты, перстни, серьги, монисты».

Объединяющим же оба женских образа щеголих «Сорочинской ярмарки», «ведьмы» Хиври и юной Параски, является в повести изображение роскошной и «своенравной» «реки-красавицы» (над которой задумывается, проезжая мост, «славная дивчина» Параска), что «с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет».

С другой стороны, как дает понять рассказчик, и Параске не очень-то повезло с ее женихом – таким же, как она, щеголем, да к тому же изрядным любителем «пенной». «Достоинства» в этом отношении будущего супруга Параски хорошо поясняет эпиграф к третьей главе «Сорочинской ярмарки», взятый Гоголем из «Энеиды» Котляревского: «Сивуху так, мов <как> брагу, хлище!» – «на світи трохи <мало> есть таких».

Обращаясь к Параске, ее отец простодушно восклицает: «Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную!..» Очевидно, Параске предстоит испытать с таким «суженым» много горя.

Одним из основополагающих мотивов «Вечеров на хуторе близ Диканьки» является тема отпадения человека от данного ему Божественного откровения – тема преступления христианских заповедей ради пустых, продиктованных тщеславием и гордостью светских приличий или же тема нарушения заповедей ради греховных удовольствий. Непосредственным проявлением этой темы можно назвать часто изображаемое Гоголем в его «сказках» несоблюдение героями церковных постов. На эту черту героев Гоголь указывает почти во всех повестях цикла: в «Вечере накануне Ивана Купала», «Пропавшей грамоте», «Ночи перед Рождеством», «Иване Федоровиче Шпоньке...». Особым образом этот мотив преломляется в «Майской ночи» и в «Страшной мести».

Соответствующее упоминание о посте есть и в «Сорочинской ярмарке». Слова автора о том, что действие его рассказа начинается в «один из дней жаркого августа», и диалог героев о только что прошедшем посте указывают здесь на Успенский пост (продолжающийся с 1 по 14 августа ст. ст.). Как и в других повестях, главной здесь является мысль о его преступ-

ном нарушении. «...Батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре... – сообщает «любезнейшей» Хавронье Никифоровне пришедший к ней в гости попович. – Но воистину сладостные приношения... единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна!» Смысл поста, заключающийся в сугубом воздержании от греха, совершенно утрачен для поповича Афанасия Ивановича (пост для которого всего лишь время приношений).

Важен для понимания замысла повести эпиграф к ее кульминационной, восьмой главе, как бы прообразующий возмездие, наступающее героев за грехи:

...Піджав хвіст, мов собака,
Мов Каїн, затрусивсь увесь;
Із носа потекла табака.

Котляревский. Энеида

(Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь; из носа потек табак; *укр.*) Так в «Энеиде» Котляревского описывается состояние главного героя, Энея, когда тот, забыв о своем назначении и погрузившись в разгульное пьянство, получает от Зевеса порядочный нагоняй. По своему содержанию («Ужас оковал всех находившихся в хате») эта глава «Сорочинской ярмарки» представляет собой как бы будущую немую сцену комедии Гоголя «Ревизор», в которой, по замыслу автора, сам Бог наказывает обремененных грехами чиновников, попуская им испытать при известии о грядущей ревизии разные «степени боязни и страха» – «вследствие великости наделанных каждым грехов».

В замысле «немой сцены» «Сорочинской ярмарки» как «сцене» возмездия отразилось, с одной стороны, отрицательное отношение Гоголя к «детским предрассудкам» и суевериям, с другой – это особый взгляд на народные верования Гоголя-историка. Богатство народной мифологии как бы свидетельствует о богатстве породившей ее веры – веры в невидимый мир. «...Жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке», – замечал он в статье «О движении народов в конце V века» (1835). По размышлению Гоголя, даже исполненные языческих суеверий старинные народные сказки обладают живительной силой, ибо несут в себе и породившую их веру в загробный мир – следовательно, и ждущее каждого человека воздаяние. Смешанный с суевериями страх перед потусторонними силами играет, таким образом, в жизни героев «Сорочинской ярмарки» – сластолюбивого поповича, Хиври, Черевика – весьма немаловажную роль, хотя бы в «таинственные часы сумерек».

Вечер накануне Ивана Купала

В «Вечере накануне Ивана Купала» Гоголь также, несмотря на сказочный сюжет, ставит проблемы весьма серьезные. Повесть исполнена как верных черт быта, так и пронизательных наблюдений в обрисовке характеров героев. Глубокой психологической правдой отличается описание состояния главного героя повести после совершенного преступления: «...будто сквозь сон, вспомнил он, что искал какого-то клада... Но за какую цену, как достался он, этого никаким образом не мог понять. <...> И все думает об одном, все силится припомнить... и... не может вспомнить. <...> И после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука...» Впоследствии Ф. М. Достоевский в «Преступлении и наказании» почти буквально повторил это описание психологического состояния преступника после совершенного убийства.

Сам Гоголь в первоначальной, журнальной, редакции повести объяснял «забывчивость» своего героя прельщением доставшимся богатством: «...Каким образом достал он клад... никак не мог понять. – Да и до того ли, когда перед глазами такая несметная куча денег?» Эта

черта героя была еще более подчеркнута рассказчиком в эпизоде встречи Петруся со своим искусителем в шинке, где тот пообещал «выручить» его из беды: «Часто видел он Бисаврюка², но тщательно избегал с ним всякой встречи... а теперь был готов обнять дьявола, как родного брата...» «...Деньги в карманах, так и лукавый станет ангелом», – пояснял рассказчик в черновой редакции «Сорочинской ярмарки».

Такого же рода психологической верностью отличается в повести рассказ о попытках героя овладеть кладом: «Уже хотел он было достать его рукою, но сундук стал уходить в землю, и все, чем далее, глубже, глубже...» В 1832 году Гоголь, собирая материалы для задуманной им комедии, записал следующее «старое правило», содержание которого во многом поясняет сюжет «Вечера накануне Ивана Купала»: «...Уже хочет достигнуть, схватить рукою, как вдруг помешательство и отдаление желанного предмета на огромное расстояние. Как игра внакидку и вообще азартная игра». Это «правило» было положено тогда же Гоголем в основу незавершенной комедии «Владимир 3-й степени». По воспоминаниям современника о ее содержании, «герой комедии добивается получить Владимирский крест, и судьба несколько раз безжалостно обманывает его чиновничье честолюбие: уже, кажется, все сделано, вот-вот повесят Владимирский крест, а тут, как нарочно, что-нибудь да помешает. Последняя неудача сводит героя комедии с ума». Преступление героя «Вечера накануне Ивана Купала» Гоголь тоже изображает как прямое сумасшествие. «Как безумный, ухватился он за нож...» – замечает он о своем решившемся на преступление герое.

Рассказчик проявляет пристальный интерес к тому участию, какое принимает в судьбах его героев нечистая сила – «обстояние бесовское» или, говоря словами Гоголя, «твердое признание незримых сил», окружающих человека повсюду.

«Вечер накануне Ивана Купала» был написан Гоголем ранее других повестей цикла. Можно, кажется, вполне определенно судить, почему именно день Ивана Купалы – день празднования рождества Иоанна Предтечи (24 июня ст. ст.) – Гоголь избрал для своего произведения. Позднее в свою записную книжку он внес заметку о народном праздновании Ивана Купалы, позволяющую догадываться о характере интереса Гоголя к изображенному им миру: «Ко времени Купала приходят в зрелость все лекарственные травы и коренья, а потому и собираются... Гаданья, собиранья трав в сии дни, когда природа совокупляет все свои силы и тайны, вдыхает предчувствие мира духовного...»

Именно это «предчувствие мира духовного» пронизывает так или иначе замыслы всех повестей «Вечеров...». «Трезвитесь, бодрствуйте, – говорит апостол Петр в своем Первом послании, – потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить...» (гл. 5, ст. 8). Эта заповедь является как бы ключевой для замысла целого сборника. Но тут же необходима оговорка. Не следует очень-то доверять гоголевским рассказчикам, когда они простоудушно повествуют вам о досадных, подчас просто комических «пакостях» нечистого – существа, согласно их рассказам, весьма недалекого и ограниченного. Герои Гоголя, постоянно толкующие о кознях лукавого, рассказывающие друг другу истории о его проделках, на деле почти всегда недооценивают своего противника. И напротив, подверженность вполне реальным, уже не сказочным и не фантастическим, искушениям лукавого гоголевские рассказчики в «простоте» своей считают подчас делом вполне «обыкновенным» и даже безгрешным, не имеющим ничего общего со злыми духами. Между тем эти-то воздействия темных сил и представляют собой, по Гоголю, действительную «брань» добра и зла за души людей. «Брань» куда более серьезную и опасную, чем благополучные путешествия героев народных легенд и анекдотов в «пекло» и обратно.

Как и другие повести цикла, «Вечер накануне Ивана Купала» посвящен изображению «невидимой брани» темных сил за душу человека. Примечательно, что грехопадение главного

² Бисаврюком, а не Басаврюком назывался герой в первоначальной, журнальной, редакции.

героя начинается, согласно замыслу Гоголя, вовсе не с момента его появления в шинке (и встречи здесь Петруся с «дьяволом в человеческом образе» Басаврюком). Падение его готовится исподволь, задолго до этого события.

Свое преступление стремящийся к обогащению герой «Вечера накануне Ивана Купала» совершает в пост. День рождества Иоанна Предтечи (Ивана Купалы) всегда приходится на Петров пост (начинающийся в период между 17 мая и 20 июня ст. ст. и оканчивающийся 28 июня ст. ст.). Это отпадение героя, Петра Безродного, от церковных обычаев подчеркивается в повести и самой «неблаговременностью» его отчаянного прихода в сельский шинок. Петрусь появляется здесь, по замечанию рассказчика, «в такую пору, когда добрый человек идет к заутрене».

С другой стороны, яркие обольстительные наряды красавицы Пидорки: шитый золотом кунтуш, красные сафьяновые сапоги на высоких железных подковах, разноцветные парчовые ленты, – все это прямо служит к тому, что, прельщенный обаянием своей возлюбленной, Петрусь решается ради нее сначала «идти в Крым и Туречину, навоевать золота», а затем прямо поднимает руку на жизнь другого человека, брата Пидорки.

С пребыванием в селе «бесовского человека» Басаврюка связывает Гоголь происхождение женских обольстительных украшений: «Пристанет, бывало, к красным девушкам: надарит лент, серег, монист – девать некуда!» Этому смысловому зачину повести соответствует и ее финал – покаяние Пидорки: «Куда ушла она, никто не мог сказать. <...> Но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку... что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмурились, на него глядя». Поступок Пидорки, принесшей в монастырь драгоценный дар, прямо соответствует одному из событий Священной истории, когда на построение богослужбной скинии каждый из народа принес Моисею потребные материалы и украшения: «И принесоша мужие от жен своих... печати, и усерязи, и перстни, и пленицы³, и мониста... в дар Господу» (Вторая книга Моисея. Исх., гл. 35, ст. 22, 24).

Гоголь высоко ценил красоту и дорожил ею. Греховное и недостойное ее употребление он считал «святоотатственным».

В выписке Гоголя «Одежда и обычаи русских. (Из Олеария)» читаем: «Женщины в России обыкновенно росту среднего, стройны и хороши лицом, но в городах все до одной белятся и румянятся так грубо, как будто бы они были вымазаны мукою и натерли себе щеки краскою. Они также чернят брови и ресницы. Жена боярина Ивана Борисовича Черкасского, необыкновенно прекрасная лицом, не соглашалась в начале замужества своего белиться и румяниться; другие боярские жены обвиняли ее гласно в пренебрежении обычаев, и она принуждена была согласиться. Так как обычай сей сделался повсеместным, то каждый жених вменяет себе в обязанность перед свадьбой, между прочими подарками, доставить невесте своей ящичек с белилами и румянами».

Последняя выписка чрезвычайно характерна для Гоголя и много дает для понимания его ранних произведений. Она отражает постоянный интерес писателя к незаметному, «обыкновенному» греху – такому, совершение которого в обществе подчас не только не порицается, но даже поощряется, превращается в «нестыдный обычай» и обязанность – в «закон». Борьбу с этими общепринятыми «законами света» Гоголь начал с самых ранних произведений.

В атмосфере господства мирских «законов» и обычаев человек начинает оцениваться почти исключительно с точки зрения исполнения им «тонких обычаев света», а не с нравственной или духовной стороны. При этом «законы света» и питающая их гордость царят не

³ Печать – перстень с изображением, употреблявшийся вместо печати. Усерязь – серьги (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка). Пленица – ожерелье (*там же*).

только в «высоком» аристократическом кругу, но и в душах самых простых людей. Как показывает Гоголь, с точки зрения «общепринятых» пустых или прямо греховных обычаев начинают оцениваться гоголевскими героями не только качества людей, живущих в миру (собственно мирян), но даже лица духовного звания.

Так, например, в предисловии к первой части «Вечеров...» «издатель» этой книги, сельский пасичник Рудый⁴ Панько⁵, хвалит рассказчика нескольких своих повестей, местного дьячка Фому Григорьевича: «И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. <...> Вот, например, знаете ли вы дьяка⁶ диканьской церкви, Фому Григорьевича?» Далее выясняется, что в пример Рудый Панько ставит Фому Григорьевича вовсе не потому, что он дьяк, то есть духовное лицо, но, напротив, как раз за то, что тот отличается от людей его звания блестящими светскими «достоинствами» – тем, что он «никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках» (халата из пестряди⁷ – грубой домашней ткани), а ходил «в балахоне» из тонкого дорогого сукна – «цвету застуженного картофельного киселя»⁸, «за которое платил... в Полтаве чуть не по шести рублей аршин»; тем, что чистил сапоги не дегтем, а «самым лучшим смальцем, какого... с радостью иной мужик положил бы себе в кашу»; тем также, что, вытирая нос, пользовался платком, который, по обыкновению, аккуратно складывал «в двенадцатую долю и прятал в пазуху».

Но можно заметить, что именно Фоме Григорьевичу принадлежат в «Вечерах...» реплики, обличающие в нем, по воле автора, изрядного суевера – что конечно же несовместимо с его духовным званием, но вполне объяснимо в нем как ревностном исполнителе мирских «законов», – заключающих в себе, помимо «законов света», такую же «законодательную» власть суеверных преданий. Суеверные реплики дьяка Фомы Григорьевича призваны, по замыслу автора, явить читателю истинную цену светских «достоинств» героя.

Эту черту сельского дьячка Гоголь и подчеркивает в «Вечере накануне Ивана Купала», рассказывая о суеверии жены Петруся Пидорки, над которой, как «простодушно» замечает тут Фома Григорьевич, «раз кто-то уже сжалился» и для исцеления мужа «посоветовал идти к колдунье» (по церковным правилам, обращающиеся к колдунам лишаются, по степени вины, участия в таинствах на несколько лет и отлучаются от церкви). Обращения Пидорки в «Вечере накануне Ивана Купала» к знахарям и колдунье подчеркнута противопоставлено автором упоминание в начале повести о бывшей в селе церкви Святого великомученика и целителя Пантелеимона, к которому, очевидно, и следовало прибегнуть за настоящей помощью.

Майская ночь, или Утопленница

Реальные черты быта родной Васильевки отразились у Гоголя и в повести «Майская ночь». Наиболее явственно эти бытовые реалии сказались здесь в размышлениях героев об одном из новейших изобретений цивилизации – применении паровой силы. «Ну, сват, вспомнил время! – говорит в повести один из героев, сельский винокур. – Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь... Слышал ли ты, что повьдумали про-

⁴ *Рудый* – рыжий (*укр.*).

⁵ *Панько* – «Пантелимин, Панько, Пантелій – Пантелеймон» (гоголевская «Книга всякой всячины...», раздел «Имена, даемые при крещении»).

⁶ *Дьяк* (дьяк; *укр.*) – дьячок, церковный чтец. Должность «дьяка», низшая среди церковных должностей, была на Украине выборной, эту должность мог занять по назначению прихода человек любого происхождения.

⁷ *Пестрядь* – грубая домашняя ткань из разноцветных ниток.

⁸ Цвет «балахона» Фомы Григорьевича – несомненная пародия на тогдашние причудливые названия модных материй: цвета поджаренного хлеба, лесных каштанов, нильской воды, влюбленной жабы, «наваринского пламени с дымом» и т. д. Такого рода названия часто встречались в журналах первой половины XIX века в описаниях европейских (парижских) мод.

клятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а как-то чертовским паром».

Хотя «критика» здесь винокурном «прогрессивного» немецкого винокурения конечно же лукава (сам он говорит о пьянице Каленике: «Это полезный человек; побольше такого народу – и винница наша славно бы пошла...»), однако в ней достаточно очевидно проглядывает отношение самого Гоголя к использованию этого изобретения – «курению паром». В 1824-м или в начале 1825 года отцу Гоголя, Василию Афанасьевичу, было сделано предложение об устройстве паровой винокурни – подобная имелась уже по соседству, в имении его богатого родственника Д. П. Трощинского (эта винокурня представляла собой, по сути, один из первых в Малороссии винокуренных заводов). Еще ранее, в 1819 году, сам Василий Афанасьевич писал Трощинскому, что на «производство винокурения парами» он и другие («мы с простыми умами») смотрят «как на некое чудо». Вероятно, отношение Василия Афанасьевича к этому проекту было отрицательным. Ибо по сравнению с соседскими именьями васьилевская винокурня всегда была чрезвычайно малопроизводительна, так что горелку даже покупали у соседей. Винокурение на Украине составляло одну из существенных статей дохода. Уже после смерти мужа мать Гоголя, стесненная в материальных средствах, приобретает оборудование для парового винокурения, позднее, в 1833 году, она пытается завести в своем имении – под началом какого-то «шарлатана, австрийского подданного» – кожевенную и сапожную фабрики, не довольствуясь той кустарной выделкой кожи, которая была при Василии Афанасьевиче. Примечателен в этом свете стихотворный «девиз» отца Гоголя:

Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельщаюсь,
Доволен я моей судьбой,
И вот девиз любимый мой.

Вероятно, Мария Ивановна имела основания незадолго до смерти мужа жаловаться ему в письме на недостаток средств: «...Все говорят и думают, что мы богаты, а от скупости не хотим ничего иметь, и не знают нашей, иногда крайней нужды...»

Воспоминанием родных мест отзывается в повести и описание майского гулянья парубков и их ряженья. Вообще говоря, тема ряженья – одна из «сквозных» для повестей «Вечеров...». Помимо «Майской ночи», эта тема затрагивается в «Сорочинской ярмарке» («сатана в костюме ужасной свиньи»), в «Вечере накануне Ивана Купала» (свадебное ряжение). Поэтому необходимо хотя бы отчасти затронуть вопрос об отношении Гоголя к «карнавальному» народному веселью в целом.

В публикации «Московского вестника» за 1827 год говорится: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется... Карнавал тем только отличается от Масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства».

Позднее в своих письмах из Италии Гоголь не раз сравнивал римский карнавал с русской Масленицей, однако ни римскую карнавальную жизнь, ни русское масленичное или святочное гулянье Гоголь ни в ранних, ни в поздних своих произведениях отнюдь не идеализировал.

Такое именно отношение и характеризует изображение святочной гульбы парубков в «Майской ночи». Действие этой повести происходит, судя по времени года (май), в так называемые Троицкие святки – на «зеленой», или «русальной», неделе, начинающейся с праздника Святой Троицы.

Все события «Майской ночи» – прежде всего гульба веселящихся парубков – разворачиваются, как указывает автор, определенно в недозволенное, с точки зрения благочестивых обычаев, время, а именно ночью, «когда благочестивые люди уже спят» (так сообщает об этом

рассказчик). «Нет, хлопцы... не хочу! – увещевает разгулявшихся парубков Левко. – Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать!»

Еще несколькими репликами героев Гоголь подсказывает и какого рода «вдохновение» охватывает гуляющих ночью «вволю» парубков. «Плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе», восклицает: «„Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься – чудится, будто поминаешь давние годы“. <...>...Толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками...» «Бесник, ночной повеса», – отметил позднее Гоголь в своем «объяснительном словаре» русского языка. «Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам!» – сообщают в «Майской ночи» голове Евтуху Макогоненку сельские десятские.

Обратившись к другим повестям «Вечеров...», можно обозначить и «крайние точки» в гоголевской оценке «гулянья» – от невольного увлечения юношеским весельем (при сохранении, однако же, трезвой дистанции) до очевидного осуждения гульбы-беснования.

«Трудно рассказать, – замечает рассказчик «Ночи перед Рождеством», – как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. <...> Парубки шалили и бесились вволю». «И стал черт такой гуляка, – как бы продолжает рассказчик «Сорочинской ярмарки», – какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!...»

Отсюда недалеко уже и до гульбы «дьявола в человеческом образе» Басаврюка, описанной в журнальной редакции 1830 года «Вечера накануне Ивана Купала»: «...днем он был почти невидимка... Ночью же только и дела, что пьяная шайка Бисаврюка... ни в чем не уступавшая своему предводителю, с адским визгом и криком рыскала по оврагам или по улицам соседнего села...»

Гулянье парубков «Майской ночи» занимает как бы срединное положение в этой широкой градации. Но, согласно размышлениям Гоголя, даже и самое невинное карнавальное веселье представляет собой в конечном счете если не прямо греховное, то, во всяком случае, пустое, бездумное времяпрепровождение. В 1840 году, в черновой редакции восьмой главы первого тома «Мертвых душ», Гоголь замечал по поводу такого праздничного гулянья, что молодежь, скрывшаяся под масками, «раз в год хочет безотчетно завеселиться, закружиться и потеряться в беспричинном веселье, избегая и страшась всякого вопроса, а... маски на их лицах... как будто смотрят каким-то восклицательным знаком и вопрошают: к чему это, на что это?».

Другая важная тема, поднимаемая в «Майской ночи», – тщеславие обыкновенного, «маленького» человека. Сюжет повести во многом строится на борьбе неудовлетворенных честолюбий героев: с одной стороны – тщеславного сельского головы, с другой – не менее честолюбивых парубков. «Кто бы из парубков не захотел быть головою!» – восклицает о них рассказчик.

«...Они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня, – рассуждает в повести голова Евтух Макогоненко, удостоенный однажды «высокой чести» сидеть во время проезда Екатерины II в Крым на козлах с царицыным кучером. – Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!»

В свою очередь, сын сельского головы Левко, решившийся «побесить хорошенько» вместе с парубками голову, который приходится ему родным отцом, восклицает: «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки!» «Я сам себе голова», – вторит парубкам шатающийся по улицам села пьяный гуляка Каленик.

Честолюбие парубка Левко еще более обнаруживается в его рассказе о панночке-утопленнице – в частности, в том, как он объясняет причины ее самоубийства: «Сотникова жена... умерла; задумал сотник жениться на другой. „Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?“ – <...> „Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!“ <...> На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои». «Парубок, найди мне мою мачеху! – жалуется Левко сама утопленница-панночка. – ...Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучала меня, заставляла работать, как простую мужичку». Это как бы само собой разумеющееся для гордой панночки признание себя недостойной презренной участи «простой мужички» отражается в повести и в тех дорогих украшениях, которыми тешат себя девы-утопленницы: «...Золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях...» Напомним, что и «гарантией» сохранения «панского», «господского» положения дочери при новой жене было именно обещание сотника продолжать дарить дочери яркие серьги и монисты – как бы знаки и свидетельства этого достоинства. Примечательно в этом свете и упоминание рассказчика при описании невесты парубка Левко, «гордой дивчины» Ганны (испытывающей какие-то особые чувства при рассказе о судьбе панночки-утопленницы), о ее украшениях – на шее ее «блистало красное коралловое монисто».

Пропавшая грамота

Мотив бесшабашной гульбы, воплощенный в «Майской ночи», Гоголь развивает далее в «Пропавшей грамоте». Действие этой повести начинается с описания уже знакомого нам разгульного веселья сельской ярмарки. «...Так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом...»

Объяснение, почему нос парубка напоминал свеклу или снегиря, можно найти у Гоголя в черновом наброске к повести «Нос»: «...Нос был полноват, с едва заметными тонкими и самыми нежными жилками, потому что коллежский асессор любил после обеда выпить рюмку хорошего вина». И в реплике Плюшкина из шестой главы первого тома «Мертвых душ»: «Вот возле меня живет капитан... С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается». Есть такая подсказка и в самих «Вечерах...» – в упоминании о пьянице-бабе с «фиолетовым носом» в «Ночи перед Рождеством».

Не успел дед пройти далее «двадцати шагов, – продолжает рассказчик «Пропавшей грамоты», – навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно!» «Слово за слово, и завелась меж ними дружба, гульня и попойка (с утра до вечера)...» (черновая редакция). «Попойка завелась, как на свадьбе перед постом Великим» (окончательная редакция). Несмотря на это недвусмысленное замечание, не оставляющее будто бы сомнения в том, что действие повести происходит не во время поста, – разгульная попойка героев все-таки совершается в пост, как это явствует из самого содержания «Пропавшей грамоты». По словам рассказчика, герой отправляется в «пекло» (именно сюда приводит деда его пьяная «гульня») в ту ночь, «в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих», то есть, согласно еще одной выписке Гоголя в «Книге всякой всячины...», опять-таки в ночь на Ивана Купалу, приходящуюся, как уже отмечалось, на Петров пост: «Ивановская ночь есть та, в которую сеймы ведьм собираются на *Лысой горе* в Киеве; туда улетают они через *комін...* либо на *помеле*, либо на *вилках* (ухвате)...» (выписка «Малороссия. Отдельные замечания»).

«...Видно, дьявольская сволочь не держит постов», – замечает позднее в «Пропавшей грамоте» сам герой, оказавшись в эту ночь за адским застольем и легко разрешая себе скоромное. Здесь автор показывает и то, кому на пользу это легкомысленное пренебрежение постом. «Ну, это еще не совсем худо, – подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы... <...>... Придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку... захватил ею

самый увесистый кусок... и – глядь, и отправил в чужой рот... Слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол». Нечто подобное совершает и Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала», выполняя волю Басаврюка и как бы своими руками выкармливая окружающую его нечисть: «Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи... <... > Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь...» «...А как клады не даются нечистым рукам, – простодушно поясняет кладоискательские намерения нечистого рассказчик, – так вот он и приманивает к себе молодцов».

Ночь перед Рождеством

Праздничная атмосфера «Ночи перед Рождеством» тоже имеет под собой вполне реальную жизненную основу; она, в свою очередь, воссоздана Гоголем по воспоминаниям родных мест. Именно здесь, под кровом родительского дома будущего писателя, праздник Рождества Христова встречался с такой теплотой, что навсегда оставил в его душе светлое чувство. Одна из сестер Гоголя вспоминала: «Вообще нас не баловали, и одним из самых больших удовольствий бывала очень скромная елка накануне Рождества, но мы бывали в восторге от всего...» Из других рассказов сестер писателя известно, что в молодости, в период обучения в Нежинской гимназии, Гоголь принимал участие и в святочном ряженье. Вероятно, на Святки, в святые дни от Рождества до Крещенья, ходил Гоголь и с колядовщиками – во всяком случае, хорошо знал рождественские колядки и в конце жизни записал по памяти несколько таких стихов (опубликованных впоследствии известным собирателем народной поэзии Петром Бессоновым).

Как и в других повестях «Вечеров...», в «Ночи перед Рождеством» Гоголь также изображает «невидимую брань» диавола за душу человека. Напомнить о незримом присутствии рядом с беспечными героями невидимого мира призвана самая первая «фантастическая» сцена повести – описание полетов ведьмы Солохи и «проворного франта с хвостом» в ясном ночном небе Диканьки. «...Наша брань не против крови и плоти, – говорит апостол Павел в Послании к Ефесянам, – но... против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» – против «князя, господствующего в воздухе» (гл. 6, ст. 12; гл. 2, ст. 2). Целые сонмища этих «поднебесных» духов видит далее кузнец Вакула во время полета на бесу в Петербург.

И в этой повести «брань» беса с главным героем отнюдь не заключается в тех мелких пакостях, на которых сосредоточивает внимание рассказчик, когда заводит об этом речь. В свою очередь, содержанием повести также не является одно лишь праздничное веселье, как это может показаться на первый взгляд. Подобно тому как в «Вечере накануне Ивана Купала», где герой, охваченный любовной страстью, готов на убийство и совершает его, герой «Ночи перед Рождеством», влюбленный кузнец Вакула, доведенный до отчаяния капризами красавицы Оксаны, тоже недалек от совершения смертного греха – он решается на самоубийство и бежит топиться «в пролубе»: «...Пропадай, душа!..» По дороге ему, однако, приходит мысль: «...пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

Герой, таким образом, дважды проявляет пагубное малодушие: сначала помышляет о самоубийстве, затем сознательно обращается к помощи нечистого. При этом Гоголь прямо указывает на «автора» тех мыслей, которые приходят отчаявшемуся Вакуле. Бес у Солохи тоже заявляет ей, что если она отвергнет его страсть, «то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло». Он-то, очевидно (сидя у Вакулы в мешке за плечами), и доводит героя до отчаянного состояния. «Нет, по́лно, – говорит себе Вакула, – пора перестать дурачиться». «Но в самое то время, – прибавляет рассказчик, – когда кузнец готовился быть

решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: „Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!“»

Но можно ли считать виной героя то, что неведомо для себя он становится предметом воздействия нечистой силы? Гоголь отвечает в повести и на этот вопрос.

Тут кстати вспомнить, что действие «Ночи перед Рождеством» – в том числе посещение Солохи ее «именитыми» ухажерами – тоже происходит в пост, причем в самый строгий, в Рождественский сочельник, когда православные, по обычаю, «до звезды» не едят. Греховным является, конечно, и намерение этих ухажеров отправиться ранее в гости к дьяку «на кутью», где кроме кутьи была и водка двух сортов, «и много всякого съестного». Подобные угощения также несовместимы со строгими установлениями Рождественского сочельника, носящего среди малороссиян название «голодной кутьи». («Вы, может быть, не знаете, что последний день перед Рождеством у нас называют голодной кутьей», – пояснял Гоголь в черновой редакции повести.) «Там теперь будет добрая попойка!» – восклицает, в предвкушении обильного угощения, казак Чуб, выходя из своей хаты.

О посте вспоминает и кузнец Вакула, оказавшись в рождественский вечер, в поисках нечистой силы, в хате Пузатого Пацюка: «...Ведь сегодня *голодная кутья*, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле... стою тут и греха набираюсь!»

Можно, однако, заметить, что таких же благочестивых размышлений следовало придерживаться герою и ранее – не только перед тем, как он решился прибегнуть к помощи нечистого, но еще лучше – пред самым отправлением его в гости на «мед» к красавице Оксане.

Изображая похождения своих героев – «бесящихся» парубков, веселящихся девчат, попадающих в мешки ухажеров Солохи, «подъезжающего» к красавице кузнеца Вакулы, пьяниц кума Панаса и ткача Шапуваленка⁹, – рассказчик «Ночи перед Рождеством», конечно, не без намерения замечает (в очевидном согласии с автором), что «все» другие «дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних» («имели столько благочестия, что решились остаться дома», – замечал рассказчик в черновой редакции). Правда, добавлял в то же время Гоголь в другом месте, одни только старухи «с степенными отцами оставались в избах».

В традиционном украинском деревянном трехчастном храме, который изображается в повести, женщины становились в дальней от алтаря части, которая называлась «бабинец». (По толкованию И. Войцеховича – одного из первых собирателей слов «малороссийского наречия» в XIX веке – «*бабинец* – притвор в церкви; место для женщин».) Слово это есть в гоголевском «Лексиконе малороссийском»: «Бабинец, паперть».

Вот как описывает Гоголь в «Ночи перед Рождеством» расположение поселян в церкви: «Впереди всех стояли дворяне и простые мужики», за ними «дворянки», а «пожилые женщины... крестились у самого входа». Девчата же, «у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов», старались, как подчеркивает Гоголь, вопреки этому порядку, «пробраться... ближе к иконостасу». Очевидно, это стремление наряженных девчат объясняется их желанием покрасоваться перед парубками. В соответствии с этим поведением девушек в церкви Гоголь и создает образ «хорошенькой кокетки» Оксаны: «... Парубки... поглядите на меня... у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! <...> Все это накопил мне отец мой... чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!»

То, что в «Ночи перед Рождеством» происходит в храме между молодежью, Гоголь показывает и среди взрослых. Вот, например, Солоха, которой следовало бы стоять в храме «у самого входа», «надевши яркую плахту» и «синюю юбку, на которой сзади нашиты были золо-

⁹ *Шапуваленко*. – Фамилия образована от слова «шаповал» – валяльщик, шерстобит.

тые усы», становится впереди всех – «прямо близ правого крылоса», так что дьяк «закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза».

Любопытное соответствие образу прельщенного гоголевского дьяка можно найти в поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830), с которой Гоголь познакомился в рукописи летом 1831 года (дав ей при этом высокую оценку). В пушкинской поэме в роли гоголевских Солох и Оксан оказывается гордая петербургская дама (по предположению исследователей, эта дама – графиня Екатерина Александровна Стройновская – явилась также одним из прототипов Татьяны Лариной в «Евгении Онегине»):

...Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову – и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.
Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее.

Одной из важнейших тем зрелого, «позднего» Гоголя является тема «просвещенного», «цивилизованного» Петербурга. Начало же обращения к этой теме восходит ко времени создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В «Ночи перед Рождеством» соблазнам «местным», диканьским, вполне соответствуют у Гоголя соблазны столичные, петербургские. «Царицыны черевички» являются при этом как бы объединяющим звеном сюжета повести. В Петербурге во времена Екатерины II ставилась даже опера с названием «Черевички». С другой стороны, в основу сюжета повести Гоголем была положена украинская народная песня «На річеньчі та на дощечці», сохранившаяся в гоголевском собрании русских и малороссийских песен:

Дивітеся, чоловіченьки,
Які в мене черевиченьки.
Се ж мені пан-отець покупив,
Щоб хороший молодець полюбив...

Само желание своенравной красавицы Оксаны иметь «те самые черевички, которые носит царица», обличает, по замыслу автора, ее изрядное тщеславие. Этим прямо объясняется ее пренебрежительное отношение к сельскому кузнецу Вакуле. «Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу». «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, – замечает чуть ранее о ней рассказчик, – то разогнала бы всех своих девок». (В черновой редакции эта мысль была выражена Гоголем с еще большей определенностью: «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в атласном с длинным хвостом платье, то... переколотила бы и выгнала десятка три горнишных».) Следствием «аристократических» замашек Оксаны и становится поездка Вакулы на бесе в Петербург. Петербург (где Вакула видит множество «дам в атласных платьях с длинными хвостами») – подспудно чаемая (хотя, вероятно, не последняя) «инстанция» честолюбивых вождлений героини.

Дальнейшее развитие в «Ночи перед Рождеством» «петербургской темы» еще ближе подводит нас к пониманию проблематики позднейшего творчества Гоголя. В получении Вакулой роскошных «черевичков» (то есть башмаков на высоких каблуках) с «сахарных» ножек Ека-

терины II под неприятзательным юмором кроется мысль о начавшемся в XVIII веке «соблазнении» русского народа высшими, более «просвещенными» сословиями. Восхищение героя неизвестно в каком «государстве на свете» сделанными «царицыными черевиками» стоит в одном ряду с его восторженной оценкой изготовленной «немецкими кузнецами» – «за самые дорогие цены» – медной ручкой дверей во дворце, а также вызывающей у Вакулы почти «поэтический» восторг роскошной дворцовой лестницей. «Что за лестница! – шептал про себя кузнец, – жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! <...> Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!» Весьма примечательно и упоминание Гоголем в написанной позднее повести «Коляска» (1836) о модных «спальных башмачках» жены провинциального помещика Чертокуцкого, «которые супруг ее выписывал из Петербурга». Спустя еще несколько лет, в наброске к заключительной главе второго тома «Мертвых душ», Гоголь напишет о пагубных соблазнах новейшей «цивилизации»: «Страшным оскорбительным упреком и праведным гневом поразит нас негодующее потомство, что... играя, как игрушкой, святым словом просвещения, правились швеями, парикмахерами, модами...»

Страшная месть

О повести «Страшная месть» В. Г. Белинский, откликаясь на выход в свет «Миргорода» (1835), писал: «„Страшная месть“ составляет теперь pendant¹⁰ к „Тарасу Бульбе“, и обе эти картины показывают, до чего может возвышаться талант г. Гоголя». Теме религиозной и национально-освободительной войны Гоголь посвятил также, задолго до создания «Страшной мести», не дошедшую до нас юношескую поэму «Россия под игом татар» (1825). Эта же тема затрагивалась Гоголем в «Ганце Кюхельгартене» (борьба православных греков против турецкого владычества). Но в «Страшной мести», как и в других повестях «Вечеров...», помимо «внешней брани» с врагами веры и отчизны, Гоголь изобразил и другую, «невидимую брань» – тоже против веры и отечества, разворачивающуюся в душах людей.

В черновой редакции повести имелось предисловие, которое само по себе весьма замечательно.

«Вы слышали ли историю про синего колдуна? Это случилось у нас за Днепром. Страшное дело! На тринадцатом году слышал я это от матери, и я не умею сказать вам, но мне все чудится, что с того времени спало с сердца моего немного веселья. Вы знаете то место, что повыше Киева верст на пятнадцать? Там и сосна уже есть. Днепр и в той стороне так же широк. Эх, река! Море, не река! Шумит и гремит и как будто знать никого не хочет. Как будто сквозь сон, как будто нехотя шевелит раздольную водяную равнину и обсыпается рябью. А прогуляется ли по нем в час утра или вечера ветер, как все в нем задрожит, засуетится: кажется, будто то народ толпою собирается к заутрене или вечерне. И весь дрожит и сверкает в искрах, как волчья шерсть среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я, право, пред Богом: нужно, давно б нужно съездить поклониться святым местам. Когда-нибудь уже под старость совсем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся в келью, и вы также, Тарас Иванович! Будем молиться и ходить по святым печерам. Какие прекрасные места там!»

Завершающий это предисловие мотив покаяния (с уходом в «святые пещеры») является одним из ключевых для «Страшной мести». Он своеобразно связывается здесь Гоголем с одним из видов монашеской аскезы – спанья на голой земле. Так, покаянные обеты колдуна – «Покаюсь: пойду в пещеры, надену на тело жесткую власяницу... <...> Не постелю одежды, когда стану спать!» – определенно перекликаются со словами о святом схимнике, которого убивает колдун: «Уже много лет, как он затворился в своей пещере. Уже сделал себе и дощатый

¹⁰ Дополнение, пара (фр.).

гроб, в котором ложился спать вместо постели». Этому соответствует еще одно место «Страшной мести»: «На лавках спит с женою пан Данило. <...> Но козаку лучше спать на гладкой земле при вольном небе; ему не пуховик и не перина нужна; он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве». Некоторые переключки со «Страшной местью», связанные уже с осмыслением Гоголем проблем европейской цивилизации, обнаруживаются в повести «Рим» (1842). Они встречаются в описании «великолепного» парижского кафе – средоточия «цивилизованной» жизни римского князя: «Там пил он с сибаритским наслаждением свой жирный кофий из громадной чашки, нежась на эластическом, упругом диване...» Кофе – загадочная «черная вода» во фляжке колдуна «Страшной мести». Эта подробность приоткрывает нам и связь «Страшной мести» с ранней поэмой «Ганц Кюхельгартен». «Старик любил на воздухе пить кофий», – замечает в ней Гоголь о своем герое, сельском пасторе, в котором явно угадываются будущие черты покаявшегося колдуна («святого схимника»). Сам пастор говорит о себе:

Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть...

На возможность покаяния для грешника и указывают обращенные к Катерине слова колдуна в «Страшной мести»: «Слышала ли ты про апостола Павла, какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым».

С мотивом покаяния тесно связаны в «Страшной мести» размышления о прощении Богом кающегося грешника. «Угрюм колдун... – замечает рассказчик в шестой главе. – Может быть, он уже и кается перед смертным часом...» Но тут же рассказчик добавляет: «...Только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему». Однако сам колдун все-таки надеется на прощение. «Ты не знаешь еще, – говорит он Катерине, – как добр и милосерд Бог». В последнюю минуту колдун летит в Киев, «к святым местам»: «Дико закричал он и заплакал, как иступленный, и погнал коня прямо к Киеву». Но здесь его опять встречает «голос рассказчика» и своеобразное представление о святости. «Святой схимник», затворившийся уже много лет в своей пещере, отвечает на отчаянную мольбу колдуна: «Нет, несслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе».

Вопреки этому суровому «голосу рассказчика» (но не автора), сам Гоголь всем содержанием повести говорит о необходимости прощения кающегося грешника. И эпизод с отказом святого схимника молиться о погибшей душе колдуна никак не может быть поставлен в ряд с действительным отношением христианских подвижников к падшему собрату. Скорее он напоминает фразу в пушкинском «Борисе Годунове», которую автор трагедии вложил в уста юродивого Николки, отвечающего на просьбу Бориса Годунова молиться за него: «Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит». Сам Пушкин по поводу этой «сочиненной» (не заимствованной им из источников) сцены в частном письме признавался: «...Никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» (письмо к князю П. А. Вяземскому около 7 ноября 1825 года). Судя по статье Гоголя «Борис Годунов», написанной на выход в свет трагедии Пушкина, симпатии Гоголя были как раз на стороне обличаемого пушкинским юродивым царя: «Столько блага, столько пользы, столько счастья миру – и никто не понимал его...» Вероятно, в скрытую полемику с Пушкиным и вступил Гоголь в «Страшной мести», изобразив страшные, продолжающиеся из рода в род последствия однажды не прощенного грешнику греха, тяжесть которого обрекла несколько поколений потомков этого грешника на пребывание в гибельном, греховном состоянии. А потому и суд Бога в гоголевской повести

за «страшную мечь» непрощения греха ближнему весьма суров: «Пусть будет все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там на коне своем, и не будет тебе царствия небесного, покамест ты будешь сидеть там на коне своем!»

Другой важной проблемой, рассматриваемой Гоголем в «Страшной мести», является тема «утонченной», эстетической «развитости» колдуна. Вообще говоря, из разнообразных мирских соблазнов – богатства, власти, красоты – последнему гоголевские герои часто оказываются подвержены в наибольшей степени.

В своих повестях Гоголь создал целый ряд «сияющих», словно пронизанных светом, живописных картин.

«Усталое солнце уходило от мира, спокойно проплыв свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился [как щеки прекрасной жертвы неумолимого недуга в торжественную минуту ее отлета на небо]. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. <...> „О чем загорюнился, Грицько?..“ – вскричал высокий загорелый цыган, ударив по плечу нашего парубка. <...> „А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?“» («Сорочинская ярмарка»).

Ослепительную власть красоты по силе ее впечатляющего воздействия Гоголь сравнивает порой с сияющим транспарантом. Вот, например, образ блестящего Петербурга в повести Гоголя «Невский проспект»: «О, не верьте этому Невскому проспекту! <...> Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! <...>... Боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! [Он опасен необыкновенно, этот Невский проспект... но более всего тогда, когда... огни сделают его почти транспарантом... И... сам демон зажигает обольстительные лампы для того, чтобы все показать не в настоящем виде]».

А вот так изображает Гоголь визит юного кухмистра Ониська к красавице Катерине в повести «Страшный кабан»: «Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце в нем вспрыгнуло... и белокурая красавица... встретила его, отворяя ворота».

Именно в последней повести Гоголь предпринял попытку изобразить благотворную – в отличие от губительной – власть красоты. Прекрасная Катерина побуждает пьяницу Ониська оставить ради нее разгульную жизнь, на что тот восклицает: «Все для тебя готов сделать».

Однако положительная оценка значения чувственной красоты для воспитания человека была лишь одной из сторон взглядов Гоголя. В статье «Скульптура, живопись и музыка» он замечал по поводу скульптуры: «Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его – и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства: она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью». О себе Гоголь в 1847 году писал, что «венцом всех эстетических наслаждений» в нем «осталось свойство восхищаться красотой души человека», где бы он ее ни встретил («Авторская исповедь»). Так и в «Вечерах...» главной явилась тема не благотворной, но главным образом губительной власти чувственной, «скульптурной» красоты. В «Страшной мести» объяснение преступной страсти героя связано именно с его «эстетическими», «утонченными» переживаниями.

Как и в других повестях «Вечеров...», «невидимая брань» в «Страшной мести» тоже разворачивается не только в душе явного «злодея» – страшного колдуна, но и в душах вроде бы вполне «положительных» героев повести. Их незаметные негативные черты, в свою очередь, многое определяют в развитии ее сюжета. Здесь прежде всего Гоголь обращает внимание на причины, приводящие к саморазрушению казачьего единства. (По замечанию исследовательницы А. Я. Ефименко, размышления над обычаями духовного братства, побратимства, упоминаемыми в «Страшной мести», позднее легли в основу изображенного Гоголем запорожского

братского союза в «Тарасе Бульбе».) Главной причиной разъединения Гоголь считает постепенно проникающую в ряды казачества страсть корыстолюбия.

«Эй, хлопец! – крикнул пан Данило. – Беги, малый, в погреб да принеси жидовского меду! <...> Что, Стецько, много хлебнул меду в подвале? <...> Эх, козаки! что за лихой народ! все готов товарищу, а хмельное высушит сам». В черновой редакции «верному хлопцу» Стецько принадлежала со своей стороны реплика, которую он произносил после гибели пана Данила: «Я пойду, соберу наших. Ляхи уже услышали про наше горе и ворочаются назад. Сердце так <и> чует, что уже шумят они в подвале. Меду поотпечатаны, и вино хлещет из воронок».

Эти реплики героев «Страшной мести» прямо перекликаются с содержанием нескольких заметок Гоголя, сделанных незадолго до создания повести при чтении «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «У князей бывало немало богатства в подвалах, кладовых и погребах: железо, медь, вино, мед, на гумнах множества хлеба. У Святослава Черниговского, брата Игоря, нашли 900 000 скирд... Меду в подвалах 500 берковцев и 80 корчаг вина¹¹... В междоусобных бранях обыкновенно дружина и вожди прежде всего старались овладеть кладовыми и погребами...» Заметка эта, в свою очередь, связана с размышлениями Гоголя о причинах замедления и «остановки» тогдашнего «хода развития» Руси, которую писатель усматривал именно в корыстолюбии князей: «Уделами менялись и торговались, как воины своими оружьями... Часто иные князья, когда нравился им чужой удел, изгоняли с сильною дружиною князя... Здесь-то нужно искать причины остановки хода развития в России» (заметка «Внутреннее устройство»). Эти же размышления отразились позднее и в строках «Тараса Бульбы» о «враждующих и торгующих городами мелких князьях», а также в знаменитой речи Тараса о товариществе: «Знаю, подло завелось теперь в земле нашей: думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меду их... Паскудная милость польского магната... дороже для них всякого братства...»

Эти представления и лежат в основе образа пана Данила в «Страшной мести», который, с одной стороны, сетует, подобно Тарасу, на отсутствие «порядка» в Украине («... Полковники и есаулы грызутся, как собаки, между собою. <...> Шляхетство наше все переменяло на польский обычай... продало душу, принявши унию»), с другой, как неоднократно подчеркивает автор, сам не лишен корыстолюбия. В последнем же случае Данило Бурульбаш, преступая ради мирских стяжаний узы духовного родства, прямо уподобляется у Гоголя Петру Безродному из «Вечера накануне Ивана Купала».

Атмосфера странного недоверия царит в хуторе пана Данила. «...Козакам что-то не верится», – замечает Катерина о самых приближенных к пану Данилу «отборных», «наивернейших молодцах». В черновой редакции эта мысль была повторена автором еще раз. «А вы, – сказал Данило, выходя на двор и отделяя из кучи собравшихся козаков *надежнейших* (курсив наш. – И. В.), – оставайтесь дома сторожить, чтоб не досталось нечистому племени опоганить наши хаты.

Ох, помню, помню я годы... – восклицает в повести пан Данило о «золотом» времени казачества. – <...>...Как резались мы тогда с турками! <...> Сколько мы тогда набрали золота! Дорогие камения шапками черпали козаки. Каких коней, Катерина, если б ты знала, каких коней мы тогда угнали! <...> Ступай, малый, в подвал, принеси мне кухоль меду!» Не случайно и само обращение здесь героя к жене Катерине, на дорогие наряды которой, как и на постоянное стремление пана Данила «добыть» золота (пожалуй, хоть и у «нечистого» колдуна: «...думаю, он не без золота и всякого добра»), то и дело по ходу повести обращает внимание рассказчик. В этом пан Данило опять-таки напоминает Петра Безродного из «Вечера накануне

¹¹ Берковец – русская мера веса в десять пудов. Корчага – «большой сосуд», «глиняный горшок» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

Ивана Купала», который ради возлюбленной задумал «пристать к какой-нибудь ватаге удалой – воевать Туречину или крымцев»: «...то и дела, что видит он кучи золота; драгоценные камни ограбленных иноверцев беспрестанно чудились ему перед глазами» – и во сне размахивал он руками, «как будто поражая нечестивые толпы крымцев и ляхов» (журнальная редакция 1830 г.).

Очевидно, намекая на пристрастие героини к украшениям, а самого героя к хмельному («Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян. А? <...> Не бойся, не бойся, больше кружки не выпью!»), Гоголь снова повторяет в «Страшной мести» темы, поднятые ранее в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Сорочинской ярмарке» (образы Пидорки и Петруся; Грицька и Параски).

Иван Федорович Шпонька и его тетушка

О характере главного героя, изображенного Гоголем в повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», можно сказать, воспользовавшись словами самого писателя из второй главы первого тома «Мертвых душ»: «Гораздо легче изображать характеры большого размера; там просто бросай краски со всей руки на полотно... но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою... эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты...»

Определенное основание видеть в гоголевском герое именно такой, «незначительного размера», характер дает само фамильное прозвище Ивана Федоровича, согласно «Лексикону малороссийскому» гоголевской «Книги всякой всячины...», «шпонька, запонка». Очевидно, в фамилии Ивана Федоровича *Шпоньки*, одно из любимых занятий которого было «чистить пуговицы» форменного мундира и который получил очередной чин спустя одиннадцать лет, подчеркивается явная незначительность фигуры героя. Об этом можно судить из соответствующих упоминаний в «Ревизоре»: «У нас есть один такой, что пятнадцать лет служит и получил только одну пряжку». В «Шинели»: «...выслужил он... пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу». (Пряжка – здесь: почетный знак, дававшийся за выслугу лет на гражданской службе.)

С другой стороны, пуговица, запонка в одежде гоголевских героев представляет собой (так же как женские украшения – мониста, серьги, перстни) весьма немаловажную деталь, своего рода знак отличия или «орден». В выписке Гоголя «Одежда и обычаи русских. (Из Оллария)» эта мысль выражена вполне определенно: «Богатые вышивают ворот около шеи и на переду, равно как и рукава внизу, на вершок в ширину, разноцветными шелками, иногда же золотом и жемчугом. В последнем случае выставляют они тот и другие из-под кафтана и к обеим сторонам ворота пришивают большие жемчужные, золотые или серебряные запонки». В другой гоголевской выписке «Об одежде и обычаях русских XVII века. (Из Мейерберга)» тоже сообщается: «Жены боярские ходили в широком опашне (иногда без рукавов) из алого сукна. Спереди донизу застегнуто золотыми или серебряными пуговицами, иногда величиной с грецкий орех...»

Очевидно, что и «незначительному» во многих отношениях Ивану Федоровичу, заботливо чистящему на досуге свои форменные пуговицы, вовсе не безразлично его скромное звание. (Отметим, например, что в чистке пуговиц он весьма напоминает «самого» вельможного Потемкина из «Ночи перед Рождеством»: «Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унизаны его руки».) Во всяком случае, тщеславие Ивана Федоровича его невысоким званием вполне удовлетворено, так как для его среды оно является вполне достаточным. (Для удовлетворения честолюбия сельского головы в «Майской ночи» – в его ближайшем, деревенском окружении – довольно и того, что однажды он сидел

на козлах с царицыным кучером. Для понимания «социальной иерархии» гоголевских героев уместно отметить, что отставному поручику Шпоньке прямо соответствует в «Майской ночи» «отставной поручик» комиссар Козьма Деркач-Дришпановский, возможный приезд которого в село прямо напоминает голове Евтуху Макогоненку проезд царицы в Крым.)

«...Так как ты уже имеешь чин немаловажный, что, думаю, тебе известно... – пишет Ивану Федоровичу Шпоньке тетушка, – то в воинской службе тебе незачем более служить». («Чин ты уже имеешь хороший, – повторяет она ему при личном свидании. – Пора подумать и об детях!») «Насчет вашего мнения о моей службе, – отвечает ей Иван Федорович, – я совершенно согласен с вами и третьего дня подал в отставку».

Итак, после двух – за несколько лет – классов гадячского поветового училища («Было... ему без малого пятнадцать лет, когда перешел он во второй класс...»¹²), после получения – спустя одиннадцать лет – подпоручичьего чина, образование свое герой считает вполне законченным. Подобно герою неоконченной повести Гоголя «Страшный кабан», «заштатному» семинаристу Ивану Осиповичу, отправляющемуся «на вакансии» (в домашние учителя или «в отставку»¹³) после многолетнего пребывания в начальных классах семинарии, Иван Федорович, тоже взяв отставку, едет в имение в некотором роде на «заслуженный» отдых.

В образе упомянутого гоголевского «семинариста», в основу которого легли, вероятно, детские впечатления Гоголя (первоначальное образование он получил дома, «от наемного семинариста»), есть еще несколько черт, роднящих его со Шпонькой. Сравнение этих двух образов помогает многое понять в замысле гоголевской повести.

«...Не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был... сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами...» – замечает о своем великовозрастном герое-семинаристе рассказчик повести «Страшный кабан». Схожими являются и изображаемые в обеих повестях «стоические» добродетели и затем «нечаянное» сватовство героев. «...Иван Осипович был настоящий стоик, – говорит автор «Страшного кабана», – и... не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода». «Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить, – восклицает Иван Федорович в ответ на намеки тетушки о женитьбе. – Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня...»

Подобно тому как бывший семинарист (а с приездом в село «грозный педагог») Иван Осипович отличается от его нового деревенского окружения главным образом светло-синим сюртуком с костяными пуговицами («с прибавкой» сюда еще нескольких мелких «дарованных» – таких, как уменьше «мотать мотки» и «прясть»), подобного же рода «духовный», образовательный «капитал» везет в свое имение и Иван Федорович Шпонька. Именно на это обращает внимание рассказчик, описывая путешествие героя на родину.

Тогда как на протяжении двух недель дороги его извозчик «шабашовал по субботам и, накрывшись своею попоной, молился весь день», Иван Федорович «в то время развязывал... чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько... снимал осторожно пушок с нового мундира... и снова все это укладывал наилучшим образом». «Книг он, – добавляет рассказчик, – вообще сказать, не любил читать; а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».

Духовную мертвенность героя по отношению к своей вере Гоголь показывает и в равнодушии Шпоньки к соблюдению церковных постов: «Это было в пятницу. <...> Иван Федорович... заблаговременно запаса двумя вязками бубликов и колбасою и, спросивши рюмку водки... начал свой ужин...» Подъехавший, в свою очередь, на постоянный двор сосед Шпоньки, помещик Григорий Григорьевич Сторченко, с подобным же нечувствием к смыслу

¹² Сам Гоголь в 1819 году поступил во второе отделение Полтавского поветового училища в девятилетнем возрасте; однако среди его соучеников были и великовозрастные – четырнадцати- и пятнадцатилетние.

¹³ От *лат. vacatio* – освобождение. Ваканщовий – заштатный, отставной (*укр.*).

христианской пятницы начинает свой ужин курицей. Последнему герою так же, заметим, как Ивану Федоровичу, очень хорошо известно, в какой день он это делает («Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота...» – говорит он Шпоньке). Но и у Григория Григорьевича набожность извозчика отнюдь не вызывает размышлений о том, как он сам исповедует свою веру.

Как указывает далее Гоголь, место веры и простого здравого смысла занимает в душе обоих героев (как это чаще всего и бывает) суеверие. Вот как, например, Григорий Григорьевич рассказывает Шпоньке об исцелении его от внезапной болезни: «Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей». На это Иван Федорович согласно отвечает: «... Извольте говорить совершеннейшую-с правду. Иная точно бывает...»

Эти размышления о соотношении веры и суеверия непосредственно отразились позднее у Гоголя в десятой главе первого тома «Мертвых душ»: «Поди ты сладь с человеком! не верит в Бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет... Вся жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками...» Гоголь объяснял здесь суеверие человека именно его духовной неразвитостью, неподготовленностью к искушению, заставляющей попавшего в критическую ситуацию обращаться к любому средству: «Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку...»

В «Иване Федоровиче Шпоньке...» Гоголь указывает и на то, что происхождение суеверий чаще всего связано с поверхностным – ориентированным лишь на внешнее «благонаравие» – светским воспитанием, оставляющим человека внутренне не просвещенным и не развитым – таким же, как оставляли его в прежние времена детские предрассудки и суеверия.

Эту зависимость Шпоньки от новейших – не менее пустых и бесплодных, чем древние суеверия, – «тонких обычаев света» рассказчик подчеркивает в повести неоднократно. Судить о ней он предоставляет читателю, во-первых, по той заботливости, с которой Иван Федорович разглядывает – в невыгодном для него сравнении с занятием извозчика – сложенное в чемодане белье: «так ли вымыто, так ли сложено». Второй раз, когда Иван Федорович отправляется в гости к своему богатому соседу: «...Иван Федорович... немного оробел, когда стал приближаться к господскому дому. <...> Иван Федорович похож был на того франта, который, заехав на бал, видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголеватее его». Еще раз эта боязнь героя выглядеть «не хуже других» изображается в повести как его кошмарный сон. «„Какой прикажете материи? – говорит купец. – Вы возьмите жены, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе сюртуки“. <...> Иван Федорович... идет к портному. „Нет, – говорит жид, – это дурная материя! Из нее никто не шьет себе сюртука...“ В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович».

Гоголь подробно останавливается на сути воспитания, полученного Иваном Федоровичем. Он подчеркивает, что это поверхностное светское воспитание было заложено в героя в детстве его суровыми «педагогами», обращавшими главное внимание именно на «хорошее поведение», то есть умение «сидеть смиренно на лавке». Вероятно, Иван Федорович, так же как впоследствии Павел Иванович Чичиков в «Мертвых душах» (будучи, в свою очередь, в классах городского училища), «вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение». Он был «преблагонаравный и престарательный мальчик»; «тетрадка у него всегда чистенькая, кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Сидел он всегда смиренно, сложив руки и уставив глаза на учителя...» «Когда кому нужда была в ножике очинить перо, то он немедленно обращался к Ивану Федоровичу, зная, что у него всегда водился ножик; и Иван Федорович... вынимал его из небольшого кожаного чехольчика, привязанного к петле своего серенького сюртука, и просил только не скоблить пера острием ножика, уверяя, что для этого есть тупая сторона» (ибо, поскольку должно, в соответствии с приличиями, наблюдать во всем порядок

– в частности, иметь ножичек в исправности, то во избежание «непорядка» лучше не использовать его «острой стороны» по назначению).

Однако первое же искушение, выпавшее на долю Ивана Федоровича, – школьную «взятку» масленым блином – герой, «тогда еще просто Ванюша», несмотря на все свое «благонаравие», не выдерживает. В этом, думается, заключается прямая подсказка о возможном продолжении повести: Иван Федорович, очевидно, не устоит и перед эстетическим «искушением» – вступлением в незаконный брак, ибо из рассказов тетушки (подстрекающей племянника к этой женитьбе) с большой вероятностью следует, что избранница героя приходится ему двоюродной сестрой. Теоретический «стоицизм» героя, не подкрепленный внутренним воспитанием, неизбежно должен потерпеть крушение.

Еще до знакомства с «барышнями» «стоический» герой Иван Федорович погружен в сферу эстетических переживаний. Эту мысль Гоголь подсказывает читателю, изображая картину пленительного заката, которую созерцает герой: «Единодушный взмах десятка и более блестящих кос; шум падающей стройными рядами травы; изредка заливающиеся песни жниц... степь краснеет, синее и горит цветами... <...> Трудно рассказать, что делалось тогда с Иваном Федоровичем. Он... стоял недвижимо на одном месте, следя глазами пропадавшую в небе чайку или считая копы нажатого хлеба, унизывавшие поле». В черновой редакции окончание этой фразы выглядело несколько иначе: «...стоял как вкопанный на одном месте, пока, подкравшись, ночь не обнимет всего неба и звезды то там, то там начнут светиться». Это описание прямо напоминает воплощенную позднее Гоголем в «Тарасе Бульбе» картину звездного неба, которую созерцает Андрий перед тем, как отправиться в осажденный город к прекрасной панночке, где он отречется от веры и отчизны. «Художническое» начало проявляется и при посещении Иваном Федоровичем имения своего соседа. В ответ на расспросы тетушки о кушаньях, которыми его там угощали, он неожиданно замечает: «Весьма красивые барышни, сестрицы Григория Григорьевича, особенно белокурая!»

Очевидно, что, хотя случай с масленым блином, «сделавший влияние на всю... жизнь» героя, не прошел бесследно для Ивана Федоровича («с этих пор робость, и без того неразлучная с ним, увеличилась еще более»), страх наказания вовсе не сделал из него по-настоящему добродетельного человека. Он лишь на время парализовал его волю: герой «не имел никогда желания вступить в штатскую службу» потому только, что увидел «на опыте», как «не всегда удается хоронить концы». «Законы света», диктат «красивости», с одной стороны, и прямая угроза наказания, с другой, стали единственными «регуляторами» нравственной жизни героя – «светской совестью» Ивана Федоровича. Однако перед любовной страстью такого рода «совесть» оказывается бессильной.

Под стать Ивану Федоровичу и другие герои повести – как из армейского света, так и из домашнего окружения.

Можно было бы еще и еще продолжать перечисление этих мелких, почти незаметных (но отнюдь не маловажных!) «пошлых» черт гоголевских героев. Однако уже очевидно, что перед нами та самая «потрясающая тина мелочей», опутавших человеческую жизнь, те самые «холодные, раздробленные, повседневные характеры», которыми «кишит» наша «земная дорога», та самая тема «мертвой души» обыкновенного, «пошлого» человека, которой Гоголь посвятит позднее главное произведение своей жизни – поэму «Мертвые души».

Заколдованное место

Последней повестью сборника – «Заколдованное место» – Гоголь как бы подводит некий итог цикла и вносит в содержание других повестей «Вечеров...», изображающих участие в жизни человека нечистой силы («Пропавшая грамота», «Ночь перед Рождеством» и др.), одну существенную «поправку». Отметим, что большинство героев ранних повестей Гоголя обна-

руживают, с одной стороны, вроде бы похвальное бесстрашие перед нечистой, с другой – крайнюю беспечность к своей участи. Их бесстрашие порой оборачивается прямым безрассудством. По неведению или духовной лени эти «бесстрашные» герои являют часто отсутствие страха именно тогда, когда бы следовало со страхом вспомнить о наказании, грозящем им за легкомысленную беззаботность и неосмотрительность в «невидимой брани». Создавая образы этих героев, Гоголь во многом следовал простонародному отношению к нечистой силе, нашедшему отражение в фольклоре (как в русском, так и в мировом). В характере бесстрашного кузнеца Вакулы, легко одерживающего победу над нечистым, легко угадываются черты, роднящие его не столько со святым подвижником церкви, но, скорее, с солдатом-«москалем» из распространенного народного анекдота (запись которого сохранилась в бумагах Гоголя). Здесь повествуется о том, как бесы хитростью сами вынуждены были изгнать грешника «москаля» из «пекла» за то, что тот писал «по стинам хрести <то есть кресты> та монастыри». Сделали они это с помощью «хитрейшего» и «умнейшего» (по сути же, еще «смешнейшего») «хромого» беса (о котором Гоголь упоминает в «Ночи перед Рождеством»). Взяв барабан, хромой бес «ударил над пеклом збрю», и солдат, схватив амуницию, «выбежал» из пекла.

В «Заколдованном месте» Гоголь как раз и выразил свое сомнение в возможности столь легкой победы над нечистым. Всем содержанием повести писатель предупреждает о недопустимости самонадеянного, легкомысленного отношения к самой возможности соприкосновения с темными силами. «Да, вот вы говорили насчет того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом, – начинает рассказчик. – Оно конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи... Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу обморочит!»

Сюжет повести снова возвращает нас к поискам «заколдованного» клада. Здесь окончательно складывается реалистический образ одного из главных героев «Вечеров...» – деда дьячка Фомы Григорьевича, «истории» которого рассказчик передавал ранее в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Пропавшей грамоте». В этом образе Гоголь продолжает свои размышления над темой «маленького» человека, который хотел бы быть «большим», хотя бы и с помощью нечистого.

Подобно Вакуле, отвешивающему «пренизкие» поклоны Пузатому Пацюку, дед из «Заколдованного места» (и «Пропавшей грамоты») тоже не прочь поподличать перед нечистой, показать ей свою «просвещенную» светскость. «Вот дед и отвесил им поклон мало не в пояс: „Помогай Бог вам, добрые люди!“» Об этой «образованности» героя рассказчик Фома Григорьевич – сам, как замечено, немалый знаток «света» – не без некоторой гордости сообщал в «Пропавшей грамоте»: «...дед жывал в свете немало, знал уже, как подпускать турусы¹⁴, и при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь...»

В «Заколдованном месте» появляются новые похвалы Фомы Григорьевича светским достоинствам его деда: «...разве так танцуют? Вот как танцуют!» – сказал он, приподнявшись на ноги... Ну, нечего сказать, танцевать-то он танцевал так, хоть бы и с гетьманшею». Едва ли не намеренно Гоголь словно сравнивает умение героя танцевать с его настоящим «призванием» в «Пропавшей грамоте» – быть *гетьманским гонцом*, которое герой исполняет в повести весьма нерадиво. От него его отвлекают собственное рассеяние и мелочные страсти – гульба и та самая «искусная» пляска на конотопской ярмарке, которые он начинает с поисков табака и огнива к своей трубке.

Простые чумаки – старые приятели деда в «Заколдованном месте» – тоже весьма пресерьезно соблюдают законы «большого света»: «Вот каждый, взявши по дыне, обчистил ее чистенько ножиком (калачи все были тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас готовы сесть), обчистивши хорошенько, проткнул каж-

¹⁴ Подпускать турусы – льстить.

дый пальцем дырочку, выпил из нее кисель, стал резать по кусочкам и класть в рот». Чем, естественно, «прихвастнуть» деду перед такими «просвещенными» чумаками, как не одной из необходимейших в свете «добродетелей» – умением танцевать «хоть бы и с гетьманшею». Неудача в этом «важном», с точки зрения светских знатоков, деле вполне естественно воспринимается героем (и рассказчиком) как прямой «стыд» и «страм»: «Только что дошел... до половины... не подымаются ноги, да и только! <...> Ну, как наделать страму перед чумаками? Пустился снова... не вытанцывается, да и полно! <...> „... Вот на старость наделал стыда какого!..“» Это же стремление блеснуть «в свете» перед товарищами заставляет деда забыть и все опасности, подстерегающие его в поисках клада. «Ну, хлопцы, будет вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых жупанах!» – восклицает герой в предвкушении богатства.

Не останавливает героя и то, что для овладения кладом ему надобно разрыть ту «могилку», в которой он якобы находится, – так же, как, например, Петр Безродный не останавливается перед убийством Ивася. Этот явный знак запрета к открытию клада «не прочитывается» дедом «Заколдованного места» вовсе не по неразумию.

Подчеркивая и наблюдательность героя, и его способность понимать приметы, рассказчик непосредственно перед обнаружением дедом запретного клада замечает: «Месяца не было; белое пятно мелькало вместо него сквозь тучу. „Быть завтра большому ветру!“ – подумал дед. Глядь, в стороне от дорожки на могилке вспыхнула свечка». Эти строки и само поведение героя в указанном эпизоде прямо напоминают слова Спасителя, обращенные к фарисеям и народу: «...вечером вы говорите: „будет ведро, потому что небо красно“; и поутру: „сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?» (Евангелие от Матфея, гл. 16, ст. 2–3).

Именно в кладоискательском предприятии и ждет «просвещенного» светскими «добродетелями» деда настоящее посрамление – суд автора над героем, доверившимся нечисти ради обогащения. Суд этот совершается через многократное физическое и нравственное унижение героя перед нечистой силой – унижение, затрагивающее самое чувствительное для героя место – сознание его «высокого» светского достоинства.

Это посрамление деда как бы «начинается» Гоголем еще в «Пропавшей грамоте» и достигает своего апогея в «Заколдованном месте». Сначала деду приходится с трудом продираться через колючие кусты в «Пропавшей грамоте» – так что, несмотря на все его мужество и отвагу, «почти на каждом шагу забирало его вскрикнуть» (в черновой редакции рассказчик добавлял: «...досаднее всего показалось деду, что смотреть дрянь какой кустик и тот, смотри, вытягивался ухватить его за чуб»).

Весьма унизительно для честолюбивого героя и питание его – мимо рта – в той же повести: «Взбеленился дед... „Что вы, Иродово племя, задумали смеяться, что ли, надо мною?“» Потом деду приходится «смиряться» и до того, чтобы играть «с бабами в дурня» и терпеть в «пекле» насмешки всей нечисти: «Козаку сесть с бабами в дурня! <...> Только что дед успел остаться дурнем, как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды: „Дурень! дурень! дурень!“»

Унизительна для героя и как бы растянувшаяся на несколько лет «развязка» «Пропавшей грамоты» – повторяющееся из года в год скаканье-плясанье жены на лавке, досаждающее ему и за самым благочестивым занятием – чтением Библии: «...видно, уже в наказание, что не спохватился тотчас после того освятить хату, бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время [как только начнешь из Библии], делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только».

В «Заколдованном месте» всевозможные унижения перед нечистой силой искусного в «плясанье» деда становятся еще более чувствительными. Сначала «заплевал» ему «очи сатана» («Отворотился хоть бы в сторону, когда хочешь чихнуть!») – поучает дед чихающую

ему в лицо нечисть правилам «хорошего тона»), то пришлось ему, «скинувши новые сапоги и обернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя», задать «такого бегуна, как будто панский иноходец» (сапоги для деда, так же как перочинный ножик для Ивана Федоровича Шпоньки, нужны, очевидно, не столько для дела – на случай непогоды, сколько для соответствия приличиям «порядочного общества» – например, для искусной пляски).

Сугубое посрамление героя совершается в финале повести, когда на него выливают горячие помои: «Признаюсь, хоть оно и грешно немного, а, право, смешно показалось, когда седая голова деда вся была окутана в помои и обвешана корками с арбузов и дыней. „Вишь, чертова баба! – сказал дед, утирая голову полою, – как опарила! как будто свинью перед Рождеством!“ <...> Что ж бы, вы думали, такое там <в котле> было? <...> золото? Вот то-то, что не золото: сор, дряг... стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул котел и руки после того вымыл».

Как бы подытоживая замысел «Вечеров...» с их суевериями и законами «большого света», еще более, чем древние суеверия, подменяющими собой христианские заповеди, Гоголь в заключительной статье «Светлое воскресенье» «Выбранных мест из переписки с друзьями» писал: «... не воспрядновать нынешнему веку Светлого праздника так, как ему следует воспрядноваться. Есть страшное препятствие... имя ему – *гордость*... Дьявол... перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми... глупейшие законы дает миру... и мир... не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь... и которая теперь... стала распоряжаться в домах наших?.. Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боится не исполнить ее малейшего приказанья... <...> Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? <...> Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила, – и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?»

В этом движении от обличения старинных суеверных преданий и предрассудков к изображению современной губительной «обрядливости»¹⁵ «законов света» и заключается смысл последующей эволюции Гоголя – от «Вечеров...» к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Ревизору» и «Мертвым душам».

И. ВИНОГРАДОВ

¹⁵ «Обрядливый, церемонный» (гоголевский «объяснительный словарь» русского языка).

Часть первая



Предисловие



«Это что за невидаль: *Вечера на хуторе близ Диканьки*? Что это за «Вечера»? И швырнул в свет какой-то пасичник! Слава богу! еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу! Еще мало народу, всякого звания и сброду, вымарало пальцы в чернилах! Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими! Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть в нее».

Слышало, слышало вешее мое все эти речи еще за месяц! То есть, я говорю, что нашему брату, хуторянину, высунуть нос из своего захолустья в большой свет – батюшки мои! Это все равно как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить. Еще бы ничего, пусть уже высшее лакейство, нет, какой-нибудь оборвавшийся мальчишка, посмотреть – дрянь, который копаются на заднем дворе, и тот пристанет; и начнут со всех сторон притопывать ногами. «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Я вам скажу... Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород, в котором вот уже пять лет как не видал меня ни подсудок из земского суда, ни почтенный иерей, чем показаться в этот великий свет. А показался – плачь не плачь, давай ответ.

У нас, мои любезные читатели, не во гнев будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь, что пасичник говорит вам запросто, как будто какому-нибудь свату своему или куму), – у нас, на хуторах, водится издавна: как только окончатся работы в поле, мужик залезет отдыхать на всю зиму на печь и наш брат припрячет своих пчел в темный погреб, когда ни журавлей на небе, ни груш на дереве не увидите более, тогда, только вечер, уже наверно где-нибудь в конце улицы брезжит огонек, смех и песни слышатся издалеча, бренчит балалайка, а подчас и скрипка, говор, шум... Это у нас *вечерницы*! Они, изволите видеть, они похожи на ваши балы; только нельзя сказать чтобы совсем. На балы если вы едете, то именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку; а у нас соберется в одну хату толпа девушек совсем не для балу, с веретеном, с гребнями; и сначала будто и делом займутся: веретена шумят, льются песни, и каждая не подымет и глаз в сторону; но только нагрянут в хату парубки с скрипачом – подыметесь крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя.



Но лучше всего, когда собьются все в тесную кучку и пустятся загадывать загадки или просто нести болтовню. Боже ты мой! Чего только не расскажут! Откуда старины не выкопают! Каких страхов не нанесут! Но нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасичника Рудого Панька. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком – ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас, не извольте гневаться, такой обычай: как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Бывало, соберутся накануне праздничного дня добрые люди в гости, в пасичникову лачужку, усядутся за стол, – и тогда прошу только слушать. И то сказать, что люди были вовсе не простого десятка, не какие-нибудь мужики хуторянские. Да, может, иному и повыше пасичника сделали бы честь посещением. Вот, например, знаете ли вы дьяка диканьской церкви, Фому Григорьевича? Эх, голова! Что за истории умел он отпускать! Две из них найдете в этой книжке. Он никогда не носил пестрядевого халата, какой встретите вы на многих деревенских дьячках; но заходите к нему и в будни, он вас всегда примет в тонком суконном балахоне, цвету застуженного картофельного киселя, за которое платил он в Полтаве чуть не по шести рублей за аршин. От сапог его, у нас никто не скажет на целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя; но всякому известно, что он чистил их самым лучшим смальцем, какого, думаю, с радостью иной мужик положил бы себе в кашу. Никто не скажет также, чтобы он когда-либо утирал нос полою своего балахона, как то делают иные люди его звания; но вынимал из-за пазухи опрятно сложенный белый платок, вышитый по всем краям красными нитками, и, исправивши что следует, складывал его снова, по обыкновению, в двенадцатую долю и прятал в пазуху. А один из гостей... Ну, тот уже был такой панич, что хоть сейчас нарядить в заседатели или подкомории¹⁶. Бывало, поставит перед собою палец и, глядя на конец его, пойдет рассказывать – вычурно да хитро, как в печатных книжках! Иной раз слушаешь, слушаешь, да и раздумье нападет. Ничего, хоть убей, не понимаешь. Откуда он слов понабрался таких! Фома Григорьевич раз ему насчет этого славную сплел присказку: он рассказал ему, как один школьник, учившийся у какого-то дьяка грамоте, приехал к отцу и стал таким латынщиком, что позабыл даже наш язык православный. Все слова сворачивает на *ус*. Лопата у него – лопатус, баба – бабус. Вот, случилось раз, пошли они вместе с отцом в поле. Латынщик увидел грабли и спрашивает отца: «Как это, батьку, по-вашему называется?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на зубцы. Тот не успел собраться с ответом, как ручка, размахнувшись, поднялась и – хватить его по лбу. «Проклятые грабли! – закричал школьник, ухватясь рукою за лоб и подскочивши на аршин, – как же они, черт бы спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так вот как! Припомнил и имя, голубчик! Такая присказка не по душе пришлась затейливому рассказчику. Не говоря ни слова, встал он с места, расставил ноги свои посередине комнаты, нагнул голову немного вперед, засунул руку в задний карман горохового кафтана своего, вытащил круглую под лаком табакерку, щелкнул пальцем по намалеванной роже какого-то бусурманского генерала и, захвативши немалую порцию табаку, растертого с золою и листьями любистка¹⁷, поднес ее коромыслом к носу и вытянул носом на лету всю кучку, не дотронувшись даже до большого пальца, – и всё ни слова; да как полез в другой карман и вынул синий в клетках бумажный

¹⁶ *Подкоморий* – межевой судья, ведавший решением споров о границах владений.

¹⁷ *Любисток* – травянистое лекарственное растение; иначе: збрю.

платок, тогда только проворчал про себя чуть ли еще не поговорку: «*Не мечите бисер перед свиньями*»... «Быть же теперь ссоре», – подумал я, заметив, что пальцы у Фомы Григорьевича так и складывались дать дулю. К счастью, старуха моя догадалась поставить на стол горячий книш с маслом. Все принялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вместо того чтоб показать шиш, протянулась к книшу, и, как всегда водится, начали прихваливать мастерицу хозяйку. Еще был у нас один рассказчик; но тот (нечего бы к ночи и вспоминать о нем) такие выкапывал страшные истории, что волосы ходили по голове. Я нарочно и не помещал их сюда. Еще напугаешь добрых людей так, что пасичника, прости господи, как черта все станут бояться. Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до нового году и выпущу другую книжку, тогда можно будет постратать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину в православной стороне нашей. Меж ними, статья может, найдете побасенки самого пасичника, какие рассказывал он своим внукам. Лишь бы слушали да читали, а у меня, пожалуй, лень только проклятая рыться, наберется и на десять таких книжек.



Да, вот было и позабыл самое главное: как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы слышались вдоволь.

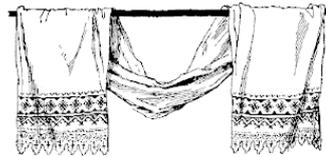
И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый Панько?» – «А вот там!» – скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки и, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич третьего году, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новой таратайкою¹⁸ своею и гнедою кобылою, несмотря на то что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные.

Зато уже как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах: представьте себе, что, как внесешь сот, – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что то за пироги, если б

¹⁸ *Таратайка* – легкая двухколесная повозка.

вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть. Подумаешь, право: на что не мастерицы эти бабы! Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случилось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объяденье, да и полно. Сладость неописанная! Прошлого года... Однако ж что я, в самом деле, разболтался?.. Приезжайте только, приезжайте поскорей; а накормим так, что будете рассказывать и встречному и поперечному.

Пасичник Рудый Панько

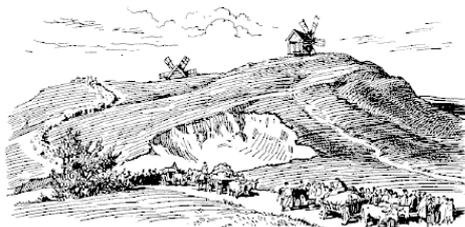


На всякий случай, чтобы не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны.

Вандура,	инструмент, род гитары.
Батог,	кнут.
Болячка,	золотуха.
Бондарь,	бочарь.
Бублик,	круглый крендель, баранчик.
Буряк,	свекла.
Буханец,	небольшой хлеб.
Винница,	винокурня.
Галушки,	клецки.
Голодрабец,	бедняк, бобыль.
Гопак,	} малороссийские танцы.
Горлица,	
Дивчина,	девушка.
Дивчата,	девушки.
Дижка,	кадка.
Дрибушки,	мелкие косы.
Домовина,	гроб.
Дуля,	шиш.
Дукат,	род медали, носится на шее.
Знахор,	многознающий, ворожея.
Жінка,	жена.
Жупан,	род кафтана.
Каганец,	род светильни.
Кленки,	выпуклые дощечки, из коих составлена бочка.
Книш,	род печеного хлеба.
Кобза,	музыкальный инструмент.
Комора,	амбар.
Короблик,	головной убор.
Кунтуш,	верхнее старинное платье.
Коровай,	свадебный хлеб.
Кухоль,	глиняная кружка.
Лысый дидько,	домовой, демон.
Люлька,	трубка.
Макитра,	горшок, в котором трут мак.
Макогон,	пест для растирания мака.
Малахай,	плеть.
Миска,	деревянная тарелка.

Молоди́ца,	замужняя женщина.
На́ймыт,	нанятой работник.
На́ймычка,	нанятая работница.
Осе́ледец,	длинный клоч волос на голове, заматывающийся на ухо.
Очи́пок,	род чепца.
Пампу́шки,	кушанье из теста.
Па́сичник,	пчеловод.
Па́рубок,	парень.
Пла́хта,	нижняя одежда женщин.
Пе́кло,	ад.
Пере́купка,	торговка.
Перепо́лох,	испуг.
Пе́йсики,	жидовские локоны.
Поветка́,	сарай.
Полутабе́нок,	шелковая материя.
Пу́тря,	кушанье, род каши.
Рушниќ,	утиральник.
Сви́тка,	род полукафтаны́.
Синдя́чки,	узкие ленты.
Сласте́ны,	пышки.
Сво́лок,	перекладина под потолком.
Сливя́нка,	наливка из слив.
Сму́шки,	бараний мех.
Сбия́шница,	боль в животе.
Со́пилька,	род флейты.
Стуса́н,	кулак.
Стри́чки,	ленты.
Тройча́тка,	тройная плеть.
Хло́пец,	парень.
Ху́тор,	небольшая деревушка.
Ху́стка,	платок носовой.
Цибу́ля,	лук.
Чумаки́,	обозники, едущие в Крым за солью и рыбою.
Чупри́на, чуб,	длинный клоч волос на голове.
Шы́шка,	небольшой хлеб, делаемый на свадьбах.
Ю́шка,	соус, жижа.
Ятка́,	род палатки или шатра.

Сорочинская ярмарка¹⁹



I

*Мені нудно в хаті жить.
Ой, вези ж мене із дому,
Де багацько грому, грому,
Де гопцюють все дівки,
Де гуляють парубки!²⁰*

Из старинной легенды

Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдаётся в степи. Лениво и бездумно, будто гуляющие без цели, стоят подоблачные дубы, и ослепительные удары солнечных лучей зажигают целые живописные массы листьев, накидывая на другие темную, как ночь, тень, по которой только при сильном ветре прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками. Серые стога сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широкие ветви черешен, слив, яблонь, груш; небо, его чистое зеркало – река в зеленых, гордо поднятых рамах... как полно сладострастия и неги малороссийское лето!

Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа тысячу восемьсот... восемьсот... Да, лет тридцать будет назад тому, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец²¹, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемую вереницею чумаки с солью и рыбою. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались, кажется, скучая своим заключением и темнотою; местами только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на возу плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медлен-

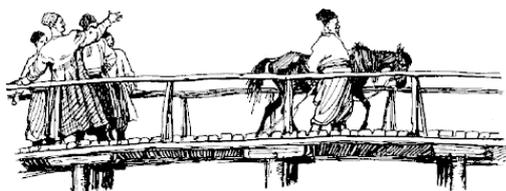
¹⁹ Напечатана в первой книжке «Вечеров...». Во втором издании книги Гоголь указал на время создания повести – 1829 год. Исследователями не раз отмечалась связь «Сорочинской ярмарки» с традициями украинской литературы, об этом свидетельствуют и эпиграфы к повести, взятые большей частью из поэмы И. П. Котляревского «Энеида», басни П. П. Гулака-Артемовского «Пан и собака», а также из комедий В. А. Гоголя-Яновского (отца писателя) «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом» и «Собака-овца» (эти комедии мать Гоголя прислала ему по его просьбе в 1829 году). Широко использованы в повести и мотивы украинского фольклора (см.: Драгоманов М. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876).

²⁰ Мне тоскливо жить в хате, вези меня из дому туда, где много шума, где все девушки танцуют, где парни веселятся (укр.).

²¹ ...местечка Сорочинец... – Великие Сорочинцы – село в Миргородском уезде, где родился Гоголь.

ными шагами шел за своим товаром, заботливо окутывая глиняных своих щеголей и кокеток ненавистным для них сеном.

Одинок в стороне тащился на истомленных волах воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел, в чистой полотняной рубашке и запачканных полотняных шароварах, его хозяин. Ленивою рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета ее. Много встречных, и особливо молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужиком. Однако ж не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать; стоило только поднять глаза немного вверх, чтоб увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбающимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые, вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново... и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться! в первый раз на ярмарке! Девушка в осьмнадцать лет в первый раз на ярмарке!.. Но ни один из прохожих и проезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душою рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся, за долгое служение, теперь на продажу. Неугомонная супруга... но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза, в нарядной шерстяной зеленой кофте, по которой, будто по горностаевому меху, нашиты были хвостики, красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке, придававшем какую-то особенную важность ее красному, полному лицу, по которому проскальзывало что-то столь неприятное, столь дикое, что каждый тотчас спешил перенести встревоженный взгляд свой на веселенькое личико дочки.



Глазам наших путешественников начал уже открываться Псёл²²; издали уже веяло прохладою, которая казалась ощутительнее после томительного, разрушающего жара. Сквозь темно- и светло-зеленые листья небрежно раскиданных по лугу осокоров²³, берез и тополей засверкали огненные, одетые холодом искры, и река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри дерев. Своенравная, как она в те упоительные часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе ее полное гордости и ослепительного блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею, осененную темною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения, чтобы заменить их другими, и капризам ее конца нет, – она почти каждый год переменяла свои окрестности, выбирая себе новый путь и окружая себя новыми, разнообразными ландшафтами. Ряды мельниц подымали на тяжелые колеса свои широкие волны и мощно кидали их, разбивая в брызги, обсыпая

²² Псёл — левый приток Днепра.

²³ Осокор (осокорь) – черный тополь.

пылью и обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами въехал в это время на мост, и река во всей красоте и величии, как цельное стекло, раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, люди, возы с горшками, мельницы – все опрокинулось, стояло и ходило вверх ногами, не падая в голубую прекрасную бездну. Красавица наша задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечник, которым исправно занималась во все продолжение пути, как вдруг слова: «Ай да дивчина!» – поразили слух ее. Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на мосту парубков, из которых один, одетый пощеголеватее прочих, в белой свитке и в серой шапке решетиловских смушек²⁴, подпершись в бока, молодецки поглядывал на проезжающих. Красавица не могла не заметить его загоревшего, но исполненного приятности лица и огненных очей, казалось стремившихся видеть ее насквозь, и потупила глаза при мысли, что, может быть, ему принадлежало произнесенное слово.



– Славная дивчина! – продолжал парубок в белой свитке, не сводя с нее глаз. – Я бы отдал все свое хозяйство, чтобы поцеловать ее. А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот поднялся со всех сторон; но разряженной сожительнице медленно выступавшего супруга не слишком показалось такое приветствие: красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка:

– Чтоб ты подавился, негодный бурлак²⁵! Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло! Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый! Чтоб ему на том свете черт бороду обжег!

– Вишь, как ругается! – сказал парубок, вытаращив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий, – и язык у нее, у столетней ведьмы, не заболит выговорить эти слова.

– Столетней! – подхватила пожилая красавица. – Нечестивец! поди умойся наперед! Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь! Столетней! что у него молоко еще на губах...

Тут воз начал спускаться с моста, и последних слов уже невозможно было расслушать; но парубок не хотел, кажется, кончить этим: не думая долго, схватил он комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок забрызган был грязью, и хохот разгульных повес удвоился с новой силой. Дородная щеголиха вскипела гневом; но воз отъехал в это время довольно далеко, и месть ее обратилась на безвинную падчерицу и медленного сожителя, который, привыкнув издавна к подобным явлениям, сохранял упорное молчание и хладнокровно принимал мятежные речи разгневанной супруги. Однако ж, несмотря на это, неутомимый язык ее трещал и болтался во рту до тех пор, пока не приехали они в пригороде к старому знакомому и куму, козаку Цыбуле. Встреча

²⁴ *Решетиловские смушки* – сорт овчины с мелкими завитками, обычно черного цвета (по названию села Решетиловка Полтавской губернии, где выдывались смушки).

²⁵ *Бурлак* — бобыль; бродяга (укр.).

с кумовьями, давно не видавшимися, выгнала на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.

II

*Що, боже ти мій, госпODE! чого нема
на тій ярмарці! Колеса, скло, дьоготь,
тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі...
так, що хоч би в кишені було рублів і з
тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки.*

Из малороссийской комедии²⁶

Вам, верно, случалось слышать где-то валящийся отдаленный водопад, когда встревоженная окрестность полна гула и хаос чудных неясных звуков вихрем носится перед вами. Не правда ли, не те ли самые чувства мгновенно обхватят вас в вихре сельской ярмарки, когда весь народ срастается в одно огромное чудовище и шевелится всем своим туловищем на площади и по тесным улицам, кричит, гогочет, гремит? Шум, брань, мычание, бляение, рев – все сливается в один нестройный говор. Волы, мешки, сено, цыганы, горшки, бабы, пряники, шапки – все ярко, пестро, нестройно; мечется кучами и снуется перед глазами. Разноголосные речи потопляют друг друга, и ни одно слово не выхватится, не спасется от этого потопа; ни один крик не выговорится ясно. Только хлопанье по рукам торгашей слышится со всех сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо, гремят сбрасываемые на землю доски, и закружившаяся голова недоумевает, куда обратиться. Приезжий мужик наш с чернобровою дочкой давно уже толкался в народе. Подходил к одному возу, щупал другой, применялся к ценам; а между тем мысли его ворочались безостановочно около десяти мешков пшеницы и старой кобылы, привезенных им на продажу. По лицу его дочка заметно было, что ей не слишком приятно тереться около возов с мукою и пшеницею. Ей бы хотелось туда, где под полотняными ятками нарядно развешаны красные ленты, серьги оловянные, медные кресты и дукаты²⁷. Но и тут, однако ж, она находила себе много предметов для наблюдения: ее сместило до крайности, как цыган и мужик били один другого по рукам, вскрикивая сами от боли; как пьяный жид давал бабе киселя²⁸; как поссорившиеся перекупки перекидывались бранью и раками; как москаль²⁹, поглаживая одною рукою свою козлиную бороду, другою... Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее за шитый рукав сорочки. Оглянулась – и парубок в белой свитке, с яркими очами, стоял перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце забилося так, как еще никогда, ни при какой радости, ни при каком горе: и чудно и любо ей показалось, и сама не могла растолковать, что делалось с нею.

– Не бойся, серденько, не бойся! – говорил он ей вполголоса, взявши ее руку, – я ничего не скажу тебе худого!

«Может быть, это и правда, что ты ничего не скажешь худого, – подумала про себя красавица, – только мне чудно... верно, это лукавый! Сама, кажется, знаешь, что не годится так... а силы недостает взять от него руку».

²⁶ Господи боже мой, чего нет на той ярмарке! Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие... так что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупил всей ярмарки (укр.). (Из комедии В. А. Гоголя «Простак, или Хитрость женичины, перехитренная солдатом».)

²⁷ *Дукат* — «большая медаль, которую на шеях носят малороссянки» (Котляревский И. Словарь малороссийских слов // Виргилиева Энеида, на Малороссийский язык переложенная И. Котляревским. СПб., 1809. Ч. 4. <Отд. 2>. С. 6).

²⁸ ...пьяный жид давал бабе киселя... – «Дать киселя значит ударить кого-нибудь сзади ног» (примечание Гоголя в черновой редакции повести).

²⁹ *Москаль* — россиянин (разг., укр).

Мужик оглянулся и хотел что-то промолвить дочери, но в стороне послышалось слово «пшеница». Это магическое слово заставило его в ту же минуту присоединиться к двум громко разговаривавшим негоциантам³⁰, и приковавшегося к ним внимания уже ничто не в состоянии было развлечь. Вот что говорили негоцианты о пшенице.



III

*Чи бачиш, він який парнище?
На світі трохи єсть таких.
Сивуху так, мов брагу, хлище!*
Котляревский. Энеида³¹

– Так ты думаешь, земляк, что плохо пойдет наша пшеница? – говорил человек, с вида похожий на заезжего мещанина, обитателя какого-нибудь местечка, в пестрядевых, запачканных дегтем и засаленных шароварах, другому, в синей, местами уже с заплатами, свитке и с огромною шишкою на лбу.

– Да думать нечего тут; я готов вскинуть на себя петлю и болтаться на этом дереве, как колбаса перед Рождеством на хате, если мы продадим хоть одну мерку.

– Кого ты, земляк, морочишь? Привозу ведь, кроме нашего, нет вовсе, – возразил человек в пестрядевых шароварах.

«Да, говорите себе что хотите, – думал про себя отец нашей красавицы, не пропускавший ни одного слова из разговора двух негоциантов, – а у меня десять мешков есть в запасе».

– То-то и есть, что если где замешалась чертовщина, то ожидай столько проку, сколько от голодного москаля, – значительно сказал человек с шишкою на лбу.

– Какая чертовщина? – подхватил человек в пестрядевых шароварах.

– Слышал ли ты, что поговаривают в народе? – продолжал с шишкою на лбу, наводя на него искоса свои угрюмые очи.

– Ну!

– Ну, то-то ну! Заседатель, чтоб ему не довелось обтирать губ после панской сливянки, отвел для ярмарки проклятое место, на котором, хоть тресни, ни зерна не спустишь. Видишь ли ты тот старый, развалившийся сарай, что вон-вон стоит под горою? (Тут любопытный отец нашей красавицы подвинулся еще ближе и весь превратился, казалось, во внимание.) В том сарае то и дело что водятся чертовские шашни; и ни одна ярмарка на этом месте не проходила без беды. Вчера волостной писарь проходил поздно вечером, только глядь – в слуховое окно

³⁰ *Негоціант* (лат. *negociant*) – иностранный торговец или торговец, ведущий крупную оптовую торговлю. В данном случае употреблено иронически.

³¹ Видишь ты, какой парнище? На свете мало таких. Сивуху, словно брагу, хлещет! (укр.) (Из поэмы украинского поэта, современника Гоголя, И. П. Котляревского; она является шуточной переделкой знаменитой поэмы «Энеида» древнеримского поэта Вергилия; I в. до н. э.)

выставилось свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз подрал по коже; того и жди, что опять покажется *красная свитка!*

– Что ж это за *красная свитка?*

Тут у нашего внимательного слушателя волосы поднялись дыбом; со страхом оборотился он назад и увидел, что дочка его и парубок спокойно стояли, обнявшись и напевая друг другу какие-то любовные сказки, позабыв про все находящиеся на свете свитки. Это разогнало его страх и заставило обратиться к прежней беспечности.

– Эге-ге-ге, земляк! да ты мастер, как вижу, обниматься! А я на четвертый только день после свадьбы выучился обнимать покойную свою Хвеську³², да и то спасибо куму: бывши *дружкой*, уже надоумил.

Парубок заметил тот же час, что отец его любезной не слишком далек, и в мыслях принялся строить план, как бы склонить его в свою пользу.

– Ты, верно, человек добрый, не знаешь меня, а я тебя тотчас узнал.

– Может, и узнал.

– Если хочешь, и имя, и прозвище, и всякую всячину расскажу: тебя зовут Солопий Черевик.

– Так, Солопий Черевик.

– А взглядишь-ка хорошенько: не узнаешь ли меня?

– Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано, на веку столько довелось наглядеться рож всяких, что черт их и припомнит всех!

– Жаль же, что ты не припомнишь Голопупенкова сына!



– А ты будто Охримов сын³³?

– А кто ж? Разве один только *лысый дидько*, если не он. Тут приятели побрались за шапки, и пошло лобызание; наш Голопупенков сын, однако ж, не теряя времени, решился в ту же минуту осадить нового своего знакомого.

– Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка твоя полюбили друг друга так, что хоть бы и навеки жить вместе.

– Что ж, Параска, – сказал Черевик, оборотившись и смеясь к своей дочери, – может, и в самом деле, чтобы уже, как говорят, вместе и того... чтобы и паслись на одной траве! Что? по рукам? А ну-ка, новобранный зять, давай магарычу!

И все трое очутились в известной ярмарочной ресторации – под яткою у жидовки, усеянную многочисленной флотилией сулей, бутылей, флажек всех родов и возрастов.

– Эх, хват! за это люблю! – говорил Черевик, немного подгулявши и видя, как нареченный зять его налил кружку величиною с полкварты³⁴ и, нимало не поморщившись, выпил до

³² *Хвеська* — «Хвенна – Феодосия» («Имена, даемые при крещении» в гоголевской «Книге всякой всячины...»).

³³ *Охримов сын...* – Охрім – Ефрем.

³⁴ *...кружку величиною с полкварты...* – Квάρта – старая русская мера жидкостей (около литра).

дна, хватив потом ее вдребезги. – Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе достал! Смотри, смотри, как он молодецки тянет пенную³⁵!..

И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с нею к своему возу, а наш парубок отправился по рядам с красными товарами, в которых находились купцы даже из Гадяча и Миргорода – двух знаменитых городов Полтавской губернии, – выглядывать лучшую деревянную люльку в медной щегольской оправе, цветистый по красному полю платок и шапку для свадебных подарков тестю и всем, кому следует.

IV

*Хоть чоловікам не онее,
Та коли жіноці, бачиш, тее,
Так треба угодити...³⁶*

Котляревский

– Ну, жинка! а я нашел жениха дочке!

– Вот как раз до того теперь, чтобы женихов отыскивать! Дурень! дурень! тебе, верно, и на роду написано остаться таким! Где ж таки ты видел, где ж таки ты слышал, чтобы добрый человек бегал теперь за женихами? Ты подумал бы лучше, как пшеницу с рук сбыть; хорош должен быть и жених там! Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

– Э, как бы не так, посмотрела бы ты, что там за парубок! Одна свитка больше стоит, чем твоя зеленая кофта и красные сапоги. А как сивуху *важно* дует!.. Черт меня возьми вместе с тобою, если я видел на веку своем, чтобы парубок духом вытянул полкварти не поморщившись.

– Ну, так: ему если пьяница да бродяга, так и его масти. Бьюсь об заклад, если это не тот самый сорванец, который увязался за нами на мосту. Жаль, что до сих пор он не попадется мне: я бы дала ему знать.

– Что ж, Хивря³⁷, хоть бы и тот самый; чем же он сорванец?

– Э! чем же он сорванец! Ах ты, безмозглая башка! слышишь! чем же он сорванец! Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, когда проезжали мы мельницы? Ему хоть бы тут же, перед его запачканным в табачище носом, нанесли жинке его бесчестье, ему бы и нуждочки не было.

– Все, однако же, я не вижу в нем ничего худого; парень хоть куда! Только разве что заклеил на миг образину твою навозом.

– Эге! да ты, как я вижу, слова не дашь мне выговорить! А что это значит? Когда это бывало с тобою? Верно, успел уже хлебнуть, не продавши ничего...

Тут Черевик наш заметил и сам, что разговорился чересчур, и закрыл в одно мгновение голову свою руками, предполагая, без сомнения, что разгневанная сожительница не замедлит вцепиться в его волосы своими супружескими когтями.

«Туда к черту! Вот тебе и свадьба! – думал он про себя, уклоняясь от сильно наступавшей супруги. – Придется отказать доброму человеку ни за что ни про что. Господи боже мой, за что такая напасть на нас грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!»

V

*Не хилися, явороньку³⁸,
Ще ти зелененький;*

³⁵ *Пі́нная* (или пенник) – крепкое хлебное вино (водка).

³⁶ Хоть мужику нужно одно, но коль баба, видишь ли, хочет другое, то нужно угодить... (*укр.*)

³⁷ *Хі́вря* — Феврония.

³⁸ *Явор* — белый клен.

*Не журися, козаченьку,
Ще ти молоденький!*³⁹
Малороссийская песня

Рассеянно глядел парубок в белой свитке, сидя у своего воза, на глухо шумевший вокруг него народ. Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро; и угасающий день пленительно и ярко румянился. Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осененные каким-то едва приметным огненно-розовым светом. Стекла наваленных кучами оконниц горели; зеленые фляжки и чарки на столах у шинкарок превратились в огненные; горы дынь, арбузов и тыкв казались вылитыми из золота и темной меди. Говор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок, мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-где начинал сверкать огонек, и благовонный пар от варившихся галушек разносился по утихавшим улицам.

– О чем загорюнился, Грицько? – вскричал высокий загоревший цыган, ударив по плечу нашего парубка. – Что ж, отдавай волы за двадцать!

– Тебе бы всё волы да волы. Вашему племени всё бы корысть только. Поддеть да обмануть доброго человека.

– Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало. Уж не с досады ли, что сам навязал себе невесту?

– Нет, это не по-моему: я держу свое слово; что раз сделал, тому и навеки быть. А вот у хрыча Черевика нет совести, видно, и на полшеляга⁴⁰: сказал, да и назад... Ну, его и винить нечего, он пень, да и полно. Все это шутки старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопцами на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы я был царем или паном великим, я бы первый перевешал всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам...

– А спустишь волов за двадцать, если мы заставим Черевика отдать нам Параску?



В недоумении посмотрел на него Грицько. В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное: человек, взглянувший на него, уже готов был сознаться, что в этой чудной душе кипят достоинства великие, но которым одна только награда есть на земле – виселица. Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот, вечно осененный язвительной улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза и беспрестанно меняющиеся на лице молнии предприятий и умыслов – все это как будто требовало особенного, такого же странного для себя костюма, какой именно был тогда на нем. Этот темно-коричневый кафтан, прикосновение к которому, казалось, превратило бы его в пыль; длинные, валившиеся по плечам охлопьями черные волосы; башмаки, надетые на босые загорелые ноги, – все это, казалось, приросло к нему и составляло его природу.

³⁹ Не клонись, явор, ты еще зелененький; не печалься, казак, ты еще молоденький! (укр.)

⁴⁰ ...нет совести... и на полшеляга... – то есть ни на грош. Шеляг – старинная мелкая монета.

– Не за двадцать, а за пятнадцать отдам, если не солжешь только! – отвечал парубок, не сводя с него испытующих очей.

– За пятнадцать? ладно! Смотри же, не забывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица в задаток⁴¹!

– Ну, а если солжешь?

– Солгу – задаток твой!

– Ладно! Ну, давай же по рукам!

– Давай!

VI

*От біда: Роман іде, от тепер як раз
насадить мені бебехів⁴², та й вам,
пане Хомо, не без лиха буде.*

Из малороссийской комедии⁴³

– Сюда, Афанасий Иванович! Вот тут плетень пониже, поднимайте ногу, да не бойтесь: дурень мой отправился на всю ночь с кумом под возы, чтоб москали⁴⁴ на случай не подцепили чего.

Так грозная сожительница Черевика ласково ободряла трусливо лепившегося около забора поповича, который поднялся скоро на плетень и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и наконец с шумом обрушился в бурьян.

– Вот беда! Не ушиблись ли вы, не сломили ли еще, боже оборони, шеи? – лепетала заботливая Хивря.

– Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифоровна! – болезненно и шепотно произнес попович, подымаясь на ноги, – выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа.

– Пойдемте же теперь в хату; там никого нет. А я думала было уже, Афанасий Иванович, что к вам *болячка* или *соняшница* пристала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете? Я слышала, что пан-отцу перепало теперь немало всякой всячины!

– Сушая безделица, Хавронья Никифоровна; батюшка всего получил за весь пост мешков пятнадцать ярового, проса мешка четыре, книшей с сотню, а кур, если сосчитать, то не будет и пятидесяти штук, яйца же большею частию протухлые. Но воистину сладостные приношения, сказать примерно, единственно от вас предстоит получить, Хавронья Никифоровна! – продолжал попович, умильно поглядывая на нее и подсовываясь поближе.

⁴¹ *Вот тебе и синица в задаток!* – Синица – пятирублевая ассигнация синего цвета.

⁴² *...насадить мені бебехів...* – Бебехи насадить – отвалить бока» (Котляревский И. Словарь малороссийских слов. С. 3).

⁴³ Вот беда: Роман идет, вот теперь он как раз поколотит меня, да и вам, пан Фома, не ждть добра (*укр.*). (*Из комедии В. А. Гоголя «Простак...».*)

⁴⁴ *Москаль* – здесь: солдат.



– Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! – проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою, будто ненарочно расстегнувшуюся, кофту, – варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!

– Бьюсь об заклад, если это сделано не хитрейшими руками из всего Евина рода! – сказал попович, принимаясь за товченички⁴⁵ и подвигая другою рукою варенички. – Однако ж, Хавронья Никифоровна, сердце мое жаждет от вас кушанья послаще всех пампушечек и галушечек.

– Вот я уже и не знаю, какого вам еще кушанья хочется, Афанасий Иванович! – отвечала дородная красавица, притворяясь непонимающею.

– Разумеется, любви вашей, несравненная Хавронья Никифоровна! – шепотом произнес попович, держа в одной руке вареник, а другою обнимая широкий стан ее.

– Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович! – сказала Хивря, стыдливо потупив глаза свои. – Чего доброго! вы, пожалуй, затеете еще целоваться!

– Насчет этого я вам скажу хоть бы и про себя, – продолжал попович, – в бытность мою, примерно сказать, еще в бурсе, вот как теперь помню...

Тут послышался на дворе лай и стук в ворота. Хивря поспешно выбежала и возвратилась вся побледневшая.

– Ну, Афанасий Иванович! мы попались с вами; народу стучится куча, и мне почудился кумов голос...

Вареник остановился в горле поповича... Глаза его выпялились, как будто какой-нибудь выходец с того света только что сделал ему перед сим визит свой.

– Полезайте сюда! – кричала испуганная Хивря, указывая на положенные под самым потолком на двух перекладинах доски, на которых была навалена разная домашняя рухлядь.

Опасность придала духу нашему герою. Опамятавшись немного, вскочил он на лежанку и полез оттуда осторожно на доски; а Хивря побежала без памяти к воротам, потому что стук повторялся в них с большею силою и нетерпением.

VII

*Та тут чудасія, мосьпане!
Из малороссийской комедии⁴⁶*

На ярмарке случилось странное происшествие: все наполнилось слухом, что где-то между товаром показалась *красная свитка*. Старухе, продававшей бублики, почудился сатана в образине свиньи, который беспрестанно наклонялся над возами, как будто искал чего. Это быстро разнеслось по всем углам уже утихнувшего табора; и все считали преступлением не верить,

⁴⁵ *Товченички* – «кушанье с щучьею начинкою» (Котляревский И. Словарь малороссийских слов. С. 13); истолченное рыбье мясо с мукой, солью, перцем, сваренное в виде клёцек.

⁴⁶ Да тут чудеса, милостивый государь! (укр.) (Из комедии В. А. Гоголя «Простак...».)

несмотря на то что продавица бубликов, которой подвижная лавка была рядом с яткою шинкарки, раскланивалась весь день без надобности и писала ногами совершенное подобие своего лакомого товара. К этому присоединились еще увеличенные вести о чуде, виденном волостным писарем в развалившемся сарае, так что к ночи все теснее жались друг к другу; спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза свои; а те, которые были не совсем храброго десятка и запаслись ночлегами в избах, убрались домой. К числу последних принадлежал и Черевик с кумом и дочкою, которые вместе с напросившимися к ним в хату гостями произвели сильный стук, так перепугавший нашу Хиврю. Кума уже немного поразобрало. Это можно было видеть из того, что он два раза проехал с своим возом по двору, покамест нашел хату. Гости тоже были в веселом расположении духа и без церемонии вошли прежде самого хозяина. Супруга нашего Черевика сидела как на иголках, когда принялись они шарить по всем углам хаты.

– Что, кума, – вскричал вошедший кум, – тебя все еще трясет лихорадка?

– Да, нездоровится, – отвечала Хивря, беспокойно поглядывая на наложенные под потолком доски.

– А ну, жена, достань-ка там в возу баклажку! – говорил кум приехавшей с ним жене, – мы черпнем ее с добрыми людьми; проклятые бабы напугали нас так, что и сказать стыдно. Ведь мы, ей-богу, братцы, по пустякам приехали сюда! – продолжал он, прихлебывая из глиняной кружки. – Я тут же ставлю новую шапку, если бабам не вздумалось посмеяться над нами. Да хоть бы и в самом деле сатана: что сатана? Плюйте ему на голову! Хоть бы сию же минуту вздумалось ему стать вот здесь, например, предо мною: будь я собачий сын, если не поднес бы ему дулю под самый нос!

– Отчего же ты вдруг побледнел весь? – закричал один из гостей, превышавший всех головою и старавшийся всегда выказывать себя храбрецом.

– Я?.. господь с вами! приснилось?

Гости усмехнулись. Довольная улыбка показалась на лице речистого храбреца.

– Куда теперь ему побледнеть! – подхватил другой, – щеки у него расцвели, как мак; теперь он не Цыбуля, а буряк – или, лучше, сама *красная свитка*, которая так напугала людей.

Баклажка прокатилась по столу и сделала гостей еще веселее прежнего. Тут Черевик наш, которого давно мучила *красная свитка* и не давала ни на минуту покою любопытному его духу, приступил к куму:

– Скажи, будь ласков, кум! вот прошусь, да и не допрошусь истории про эту проклятую *свитку*.

– Э, кум! оно бы не годилось рассказывать на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить тебе и добрым людям (при сем обратился он к гостям), которым, я примечаю, столько же, как и тебе, хочется узнать про эту диковину. Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут он почесал плеча, утерся полою, положил обе руки на стол и начал:

– Раз, за какую вину, ей-богу, уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла.

– Как же, кум? – прервал Черевик. – Как же могло это стать, чтобы черта выгнали из пекла?

– Что ж делать, кум? выгнали, да и выгнали, как собаку мужик выгоняет из хаты. Может быть, на него нашла блажь сделать какое-нибудь доброе дело, ну и указали двери. Вот, черту бедному так стало скучно, так скучно по пекле, что хоть до петли. Что делать? Давай с горя пьянствовать. Угнезвился в том самом сарае, который, ты видел, развалился под горою и мимо которого ни один добрый человек не пройдет теперь, не оградив наперед себя крестом святым, и стал черт такой гуляка, какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..

Тут опять строгий Черевик прервал нашего рассказчика:

– Бог знает что говоришь ты, кум! Как можно, чтобы черта впустил кто-нибудь в шинок? Ведь у него же есть, слава богу, и когти на лапах, и рожки на голове.

– Вот то-то и штука, что на нем была шапка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гулял – наконец пришлось до того, что пропил все, что имел с собою. Шинкарь долго верил, потом и перестал. Пришлось черту заложить красную свитку свою, чуть ли не в треть цены, жиду, шинковавшему тогда на Сорочинской ярмарке; заложил и говорит ему: «Смотри, жид, я приду к тебе за свиткой ровно через год: береги ее!» – и пропал, как будто в воду. Жид рассмотрел хорошенько свитку: сукно такое, что и в Миргороде не достанешь! а красный цвет горит, как огонь, так что не нагляделся бы! Вот жиду показалось скучно дожидаться срока. Почесал себе пейсики да и содрал с какого-то приезжего пана мало не пять червонцев. О сроке жид и позабыл было совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит какой-то человек: «Ну, жид, отдавай свитку мою!» Жид сначала было и не poznal, а после как разглядел, так и прикинулся, будто в глаза не видал. «Какую свитку? у меня нет никакой свитки! я знать не знаю твоей свитки!» Тот, глядь, и ушел; только к вечеру, когда жид, заперши свою конуру и пересчитавши по сундукам деньги, накинул на себя простыню и начал по-жидовски молиться Богу, – слышит шорох... глядь – во всех окнах повывставлялись свиные рыла...

Тут в самом деле послышался какой-то неясный звук, весьма похожий на хрюканье свины; все побледнели... Пот выступил на лице рассказчика.

– Что? – произнес в испуге Черевик.

– Ничего!.. – отвечал кум, трясаясь всем телом.

– Ась! – отозвался один из гостей.

– Ты сказал?..

– Нет!

– Кто ж это хрюкнул?

– Бог знает чего мы переполошились! Никого нет!

Все боязливо стали осматриваться вокруг и начали шарить по углам. Хивря была ни жива ни мертва.

– Эх вы, бабы! бабы! – произнесла она громко. – Вам ли козаковать и быть мужьями! Вам бы веретено в руки, да и посадить за гребень! Один кто-нибудь, может, прости господи... Под кем-нибудь скамейка заскрипела, а все и метнулись как полоумные.

Это привело в стыд наших храбрецов и заставило их ободриться; кум хлебнул из кружки и начал рассказывать далее:

– Жид обмер; однако ж свины, на ногах, длинных, как ходули, повлезали в окна и мигом оживили жиды плетеными тройчатками, заставя его плясать повыше вот этого сволока. Жид – в ноги, признался во всем... Только свитки нельзя уже было воротить скоро. Пана обокрал на дороге какой-то цыган и продал свитку перекупке; та привезла ее снова на Сорочинскую ярмарку, но с тех пор уже никто ничего не стал покупать у ней. Перекупка дивилась, дивилась и, наконец, смекнула: верно, виною всему красная свитка. Недаром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит что-то. Не думая, не гадая долго, бросила в огонь – не горит бесовская одежда! «Э, да это чертов подарок!» Перекупка умудрилась и подсунула в воз одному мужику, вывезшему продавать масло. Дурень и обрадовался; только масла никто и спрашивать не хочет. «Эх, недобрые руки подкинули свитку!» Схватил топор и изрубил ее в куски; глядь – и лезет

один кусок к другому, и опять целая свитка. Перекрестившись, хватил топором в другой раз, куски разбросал по всему месту и уехал. Только с тех пор каждый год, и как раз во время ярмарки, черт с свиною личиною ходит по всей площади, хрюкает и подбирает куски своей свитки. Теперь, говорят, одного только левого рукава недостает ему. Люди с тех пор открешиваются от того места, и вот уже будет лет с десятков, как не было на нем ярмарки. Да нелегкая дернула теперь заседателя от...

Другая половина слова замерла на устах рассказчика...

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вылетели вон, и страшная свиная рожа выставилась, поводя очами, как будто спрашивая: «А что вы тут делаете, добрые люди?»

VIII

*...Піджав хвіст, мов собака,
Мов Кайн, затрусивсь увесь;
Із носа потекла табака⁴⁷.*

Котляревский. Энеида

Ужас оковал всех находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень; глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить; разверстые пальцы остались неподвижными на воздухе. Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину; доски посунулись, и попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! ай! ай!» – отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Спасайте!» – горланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя заслонкою. А Черевик, как будто облитый горячим кипятком, схвативши на голову горшок вместо шапки, бросился к дверям и как полоумный бежал по улицам, не видя земли под собою; одна усталость только заставила его уменьшить немного скорость бега. Сердце его колотилось, как мельничная ступа, пот лил градом. В изнеможении готов уже был он упасть на землю, как вдруг послышалось ему, что сзади кто-то гонится за ним... Дух у него занялся... «Черт! черт!» – кричал он без памяти, утраивая силы, и чрез минуту без чувств повалился на землю. «Черт! черт!» – кричало вслед за ним, и он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, и он, как страшный жилец тесного гроба, остался нем и недвижим посреди дороги.

IX

*Ще спереду і так, і так;
А ззаду, ей же ей, на черта!
Із протонародной сказки⁴⁸*

– Слышишь, Влас, – говорил, приподнявшись ночью, один из толпы спавшего на улице народа, – возле нас кто-то помянул черта!

– Мне какое дело? – проворчал, потягиваясь, лежавший возле него цыган, – хоть бы и всех своих родичей помянул.

⁴⁷ ...Поджав хвост, как собака, как Каин, затрясся весь; из носа потек табак (укр.).

⁴⁸ Спереди еще так-сяк, а сзади, ей-же-ей, похож на беса (укр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.